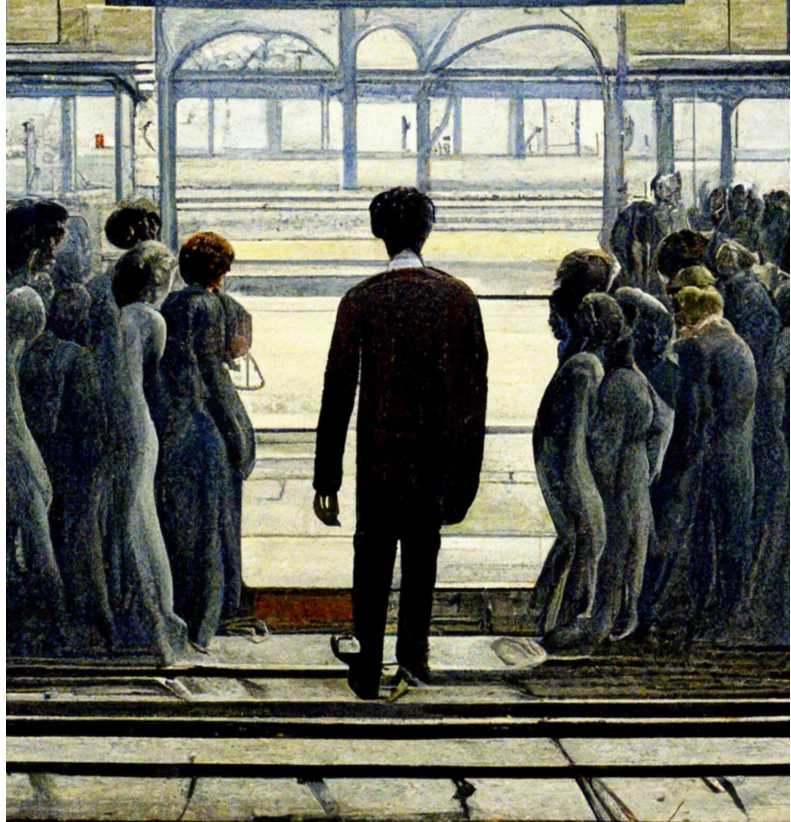


**ЯН ВОРОЖЦОВ**



**ОТСЮДА ЛУЧШЕ ВИДНО НЕБО**

18+

# Ян Михайлович Ворожцов

## Отсюда лучше видно небо

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=65838641](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65838641)*

*SelfPub; 2023*

### **Аннотация**

В период перестройки мучимый вымышленной болезнью и поэтически одаренный молодой человек по имени Владислав по решению отца переезжает из родного городка в Ленинград. Питающий глубокую привязанность к отцу-коммунисту, Владислав не может свыкнуться с переездом в чужой, незнакомый ему город и крушением привычного строя общества – с первых же дней переезда он теряет чувство реальности и задается единственным вопросом: почему отец выгнал его из дома?

# Содержание

1	4
2	15
3	27
4	43
5	51
6	66
7	81
8	99
9	103
10	132
11	141
12	145

# Ян Ворожцов

## Отсюда лучше видно небо

### 1

Владислав стоял на перроне, с покорной вежливостью пропуская вперед себя поток пассажиров, заполняющих вагон электрички.

Отбывать в Ленинград не хотелось, и молодой человек с болезненной надеждой косился на вершителей судьбы, провозжавших его в незаслуженную ссылку. Отец стоял поодаль в потрепанном пальто – разомлевший от сладостных поцелуев летней жары, с тросточкой, на которую опирался, с добрыми глазами, с какой-то неумело обнадеживающей прощальной улыбкой на губах. Своей небритой сизой щекой он терся о вульгарное плечо тетки, Акулины Евдокимовны. Она склонилась к нему голову и что-то нашептывала, блестящими глазами поглядывая на Владислава.

«Заговорщики...» – подумал он и попытался куда-то деть свой взгляд.

Великолепный, наспех составленный кроссворд неба загадал ему какое-то слово из семи облаков. Час был ранний, кажется, пять утра, и солнце едва-едва пересилило горизонт, будто в усталом зевке перекатываясь на бок. Бледный его

свет заиграл на окнах вагона-людоеда, в омраченной душе Владислава, в его лучистой крови, повысив уровень гемоглобина. Вид был красивый, но недолговечный.

Наконец пассажиры пролезли в двери-створки, и крупногабаритный Владислав, ссутулившись, вошел следом за ними и присмотрел свободное место у окна, пока что никем незамеченное.

Тетка помахала ему на прощание, отец подхватил ее инициативу с улыбкой странной радости, которую Владислав лично разделить не мог – он отвернулся и свои бесполезные, полуслепые глаза быстро спрятал под опущенными светло-желтыми ресницами, словно это были украденные у родителей две монетки по пять копеек, на которые он в детстве покупал вкуснейшее эскимо на палочке.

«Эх... В прошлом... – пробормотал он. – Теперь все в прошлом».

До сих пор, уже полмесяца зная о предстоящем, Владислав никак не мог понять экстренной необходимости переезда. Зачем куда-то перемещаться? Ему и в Кексгольме жилось неплохо! Тем более к пространству как таковому он всегда относился лишь как к единице измерения времени. Поэтому чаще интересовался вопросом не «куда», но «надолго ли».

«Надолго я поеду?» – спросил он отца, Виталия Юрьевича.

«На постоянно», – был короткий ответ.

Это стало больше, чем привычкой.

В отличие от других детей, интересовавшихся местом, в котором они пребывали до своего рождения, Владислава всегда интересовало лишь будущее и его место там – его цель, смысл его жизни и ее ценность для мира.

Так уж получилось, что болезненная мать, кое-как его выносившая в свои тридцать, кое-как им разродившаяся, при родах промахнулась Владиславом, и он, неприкаянный душой и обезличенный, полетел в бездонную пропасть, затерявшуюся между двух несовместимых эпох...

К счастью, положение Владислава в Ленинграде предвиделось достаточно стабильным.

Там у их родственницы, весьма вредной, со скверным характером особы, живущей в гордом безбрачном и бездетном одиночестве, имелась жилплощадь, любезно Владиславу выделенная, чтобы было проще обжиться, не обнажая, как эксгибиционист, психику перед каждым незнакомцем.

Спешить ему некуда...

Пока перепутанные пассажиры пытались сообразоваться, ища, куда втиснуться, Владислав удачно занял место у окна.

Впереди трехчасовой отрезок пути, утомляющее ожидание и гнетущая необходимость мириться с поразительным контрастом: с одной стороны радостно-зеленой свежестью переливчатых далей, блестящих каплями росы в окне, а с другой – грубо проникающей, насильственной силой человеческого присутствия, выраженной в давке, в шуме, в духоте.

Владислав хмуро сдвинул брови, как две кровати в обще-

житии черт двуспального лица, узлом связал руки на груди и, уставившись исподлобья с задумчивостью на уменьшающегося отца, погрузился в свое пессимистическое предвкушение будущего.

Неодинаковые, никому конкретно не принадлежавшие голоса за его громадной четырехугольной спиной говорили, что это юбилейная, по счету сто первая поездка после трудоемкой электрификации железнодорожной ветки Кексгольм – Ленинград.

Электричка тронулась, словно откололся громоздкий глетчер изгнания.

Кошмарно-однообразная, побежала вдоль путей лесополоса, изредка прерывавшаяся мимолетной поперечиной, выстриженной от кустарника тусклой пустошью.

Поначалу Владислав сидел в странно-напряженной позе – и так было всякий раз, когда он оказывался за пределами сформировавшейся привычки. Он вроде бы начинал существовать не в той форме, в какой существовал внутри нее – и это различие, этот незаполненный промежуток между ним и его представлениями о самом себе, в котором Владислав находился, назывался форой.

Так он и сидел, ощущая, как в нем разрастается неуверенность в себе и в завтрашнем дне, и самого себя, как готовый выстрелить пистолет, обхватил руками, пряча от посторонних.

Посторонними здесь были все. Включая и самого Влади-

слава.

В первые часы поездки кто-то то и дело возникал перед ним: лица сменялись лицами, тела превращались в слезоточивый газ, а неисчерпаемая пустота в бесчисленных своих формах связывалась узлами мускулов, но в накатившем полусне-полубеспамятстве Владислав едва ли замечал происходящее вокруг безобразия.

Беспокойство, одолевавшее его, понемногу ступавало, когда в пассажира-переростка вошли вибрирующие ритмы раскачивающегося вагона, маскируясь под его сердцебиение, спутывая дыхание и стимулируя пищеварение. Внизу живота он ощущал разжижение воли и перистальтические сокращения кишечника, сквозь который были проложены дрожащие рельсы.

Казалось, что ни одно явление не было возведено в окончательную степень требуемой полноты, и во всем сквозила готовая вот-вот состояться, но не происходившая обезоруживающая перемена.

Все вокруг было каким-то неясным, не внушающим доверия, будто бы реальность не сбывалась, не добиралась до каждодневных, выработанных привычкой пределов, и теперь знакомый мир, из которого Владислав увез только затаенную обиду и размышления о собственной ненужности, постепенно рассыпался, сменялся новым, чужим.

Он не мог понять, почему?

Почему же... Почему отец выпроводил его из дома?



Объяснение могло быть только одно: потому что устыдился на старости лет и на глазах сына закрутить пошловатую и низкопробную интрижку с сестрицей покойной супруги (с невыдуманной и лучезарной копией любимой женщины).

К чему нужен этот любовный роман, возведенный на руинах прошлого? Немолодому мужчине требовалось плечо более молодой женщины, чем он сам?

«Господи боже, и не стыдно им! Как можно так... Фу, это же просто-напросто отвратительно, мерзко... Эти двое бесстыдников так запросто кувыркаются в койке! Да мать в гробу перевернется...» – мысленно отплевываясь, подумал Владислав.

Ему захотелось вдруг высказаться, сойти на следующем дебаркадере, сесть в такси и вернуться в Кексгольм (под любым предлогом), ну или хотя бы позвонить отцу с телефона-автомата. Да, ему показалось это очень неплохой идеей.

Желательно, чтобы трубку взяла тетка, и Владислав, намекая на набегающий возраст отца, скажет ей своим размашистым голосом:

«Здрасьте, тетя Акулина, позовите-ка моего старика к телефону!» – и он еще глухо усмехнется в обжегшуюся трубку, расслышав отцовские шаркающие шаги, одышку из-за болезни сердца и страдальческий кашель заядлого курильщика.

И тогда он все выскажет, что думает об их интрижке!

С другой стороны, совершенно не хотелось верить, что все

это правда. И в какой-то мере Владислав даже постыдился себя.

Нет же!

Как мог человек, которому он с младенчества доверялся во всем, чей авторитет был неоспорим, непререкаем, кто был для него примером для подражания – как мог отец врать сыну и выпроваживать из дома?!

Да и стал бы он, этот мужественный и трудолюбивый человек, этот хлеб коммунистической выпечки, этот ревностно веровавший в христианство мужчина, когда-то вместе с бесплотным радиоведущим провожавший Гагарина в космос и грезивший о чудесах грядущего будущего, – так вот стал бы такой человек всячески урезонивать и подталкивать Владислава к отъезду только потому, что нуждался в женщине?

Потому, что хотел свою бесплодную интрижку утаить? Потому, что устыдился сыну правду в глаза сказать...

Это не только пошло, но и гадко. Глупости какие!

«Нет, быть такого не может. Просто не может... – сказал себе Владислав. – Но все-таки почему?»

Прежде казалось, что Виталий Юрьевич человек несколько большего масштаба.

В сущности своей он всегда был простодушным, приземленным, работающим: вместо горящих ромашковых лугов и самонаводящихся ракет в просвечивающем аквариуме его головы плавал усатый сом космоса, и росли плодящиеся промышленные предприятия, да и воображение его носило ис-

ключительно применимый на практике, кооперативный характер.

Работавший в лесопромышленной сфере, он был чрезвычайно взыскателен к самому себе (и к окружающим, впрочем, не к Владиславу) и возглавлял своеобразный общественный комитет дисциплинарной ответственности. Его непринужденный и обязательный возглас «Сработаемся!» теперь звучал как бы в приглушенном отдалении...

Да, это раньше отец был гибкий, как герундий, ходил враскачку, по-моряцки, не боясь опрокинуться, тугая послеоперационная кровь струилась в его аляповатых мускулах. Он неистово спиливал однообразные бревна-деревья, с проникновенным воодушевлением расточал экосистему во имя светлого будущего мебели.

Тарелка горячей каши и несколько часов сна восстанавливали потраченные силы.

Но теперь от того неутомимого, пренебрегавшего даже перекурами стахановца лесозаготовительной промышленности не осталось и следа.

И навстречу Владиславу из покоробленной ретроспективы выходил уже совершенно иной человек – состарившийся, ослабший, перенесший инфаркт, переживший смерть двух детей (старшего сына Виталика и промежуточной дочурки Евы) и любимой жены Людмилы.

Впрочем, как человеческое тело Виталий Юрьевич не сильно изменился даже после трагедии: кожа его, бесспорно,

слегка забуксовала, отсырели мускулы, в несмелом проеме застегнутой рубахи сиял пронзительной серебристостью переплет седины, а из вулкана грудной клетки – уже не раздавалась вдохновляющая пионерская песнь, а брызгала кровавая овсянка кашля, мокрота и высморканные сопли, и лезла из скривившегося от пьянки рта орава оборотней в погонах гнойных, а ум заполонила саранча интеллектуального бессилия, и внутренности содержали все больше продукции ликеро-водочных магазинов...

Но больше всего, казалось, повредились личностные, нерукотворные свойства Виталия Юрьевича.

Они словно уменьшились вчетверо, как брусок мыла, погружившийся в воду – и это неудивительно, после таких событий. Сам Владислав до сих пор помнит последний звонок матери из Италии.

«Философски ошеломляющий! – сказала Людмила Викторовна о феноменальном, неоднократно премированном, сопровождаемом ирреально-голубым, потусторонне-синим светом спектакле-аттракционе «Прометей» акробатов Волжанских. – Чудо-чудесное! Я такого еще никогда не видела, сидела и аплодировала как во сне. Виталику и Евочке тоже очень понравилось. Но они устали, и мы завтра вылетаем, так что готовьтесь нас встречать...»

Но на обратном пути из-за технических неполадок произошла однодневная задержка рейса. Вечером на крыле гроба-самолета разлился кроваво-красный десятитонный закат.

Вылет состоялся в четверг.

Спустя несколько часов из-за удара молнии над неуклюжим, неповоротливым тюленьим телом Европы произошла авиакатастрофа.

После этой трагедии Виталий Юрьевич пусть и в меньшей степени, но до сих пор жив – и, видя это расстояние между прошлым и настоящим собой, он, должно быть, разрешил себе в последние годы довольствоваться пробившейся в люди бледной тенью прежней супружеской жизни.

Владислав устало, грустно вздохнул.

«Я надеюсь, ты будешь хоть чуточку счастливее теперь, пап», – подумал он.

Кексгольм тем временем уже остался далеко позади.

Владислав мог только гадать, что его самого ждет.

Электричка неудержимо катила сквозь сжимающийся сфинктер туннеля напрямик в беспросветную, бритоголовую тьму будущего.

Есть ли ему, Владу, в Ленинграде место? Какая роль ему уготована? Ждут ли его?

Под эти размышления оставшиеся часы поездки пролетели незаметно.

Перед глазами вырисовалось лицо гипертрофированной кондукторши. Вокруг крохотного кокнутого рта, похожего на ощипанную куриную гузку, был выкопан кровавый ров помады. Губы, напаянные на крупные зубы, как гусеничная лента, обнаруживали избыточное сходство с подбитым тан-

КОМ.

«Юноша, юноша! Не спите! – ревела в ухо эта карикатура на женщину. – Остановку провороните!»

«Не пятилетка – потерпит», – подумал Владислав.

«Вовсе не сплю. Просто глаза прикрыл, экономлю остатки зрения. Пригожий у вас макияж, гражданка», – выговорил он и сделал глубокий вдох, наполняя грудь несколькими кубометрами залежалого воздуха. Потом взял свой чемодан, защелкнул его и, извиняясь за отдавленные ноги, двинулся сквозь толпу к выходу.

## 2

На перроне, продуваемом Ленинградскими ветрами, его уже дожидалась родственница, Фемида Борисовна. В помятой панамке, кофточке и джинсах.

Приткнув к переносице сверкнувшие солнечные очки, она с удивлением спросила:

«Тебя что, в поезде выполоскали и выстирали, что ты вышел оттуда белее собственной рубашки?!»

«А это я так по последнему крику мимикрирую», – посмеялся он, но почувствовал еще там, в вагоне, что это была не просто поездка из Кексгольма в Ленинград, это было нечто иное. Словно всех пассажиров, как причудливой формы кегли вздернули куда-то вверх, во тьму, пока они дремали и почитывали газеты, и переставили местами, как-то видоизменили в тайне от них самих, так что теперь собственное полупарализованное тело казалось Владиславу неуклюжей подменой, но ничего доказать было нельзя. Теперь это он.

«Какой ты вымахал... – пропустив мимо ушей его слова, с притворным восторгом, в котором было что-то совершенно противоположное, заметила женщина. – Помню, дед твой тоже был ростом огого! Единственный адекватный мужик был во всем вашем семействе. У него хотя бы мнение было. Ты, правда, только ростом в него... Стремянка нужна, чтобы на

тебя влезть».

«А зачем на меня влезать?» – не понял Владислав, но женщина не собиралась объяснять свои слова, сказанные, очевидно, из насмешливости, а не под впечатлением от его неуклюжего гигантизма.

Да, в ужасно тяжелом обмундировании плоти – с португезей позвоночника, патронташем кишечника, бронезиловым плоти, в пуленепробиваемой каске непрекращающейся головной боли – жил этот крошечный внутри, стремящийся к незаметности, скурсившийся однокомнатный человек, которому повсюду было некомфортно, неудобно до повышенной потливости, повсюду он был сам не свой и чувствовал себя чужим и ненужным.

«Привет, чемодан, вокзал, Россия! Гуд-бай, все ортодоксальные националисты!» – произнес громким, прибалтийским басом курносый, коренастый мужчина у Владислава за спиной, после чего поднял свой багаж и, как нож, резво двинулся сквозь тающий на солнце пломбир толпы.

«Душно, – думал Владислав, – прямо-таки до тошноты. Какая-то нехорошая атмосфера. Недоброжелательная...»

От жары членистоногая плоть вспучилась, одежда зашевелилась и принялась его душить. Странная, будто чужая усталость буквально валила с ног. Сердце забарахлило. Ветер подстрекал его волосы к мятежу против укоренившейся власти расчески. Десантное подразделение жары высадилось в тыл его расплавленного затылка.



Ощутил Владислав себя, надо сказать, погано и внезапно ужаснулся представшей перед ним перспективе прошлого, в которой он теперь не существовал и которая даже не думала оканчиваться на нем.

Но оглядываться поздно...

«Ну ты просто вылитый отец, – насмешливо-язвительно цокнув языком, как-то пренебрежительно и не пойми к чему заключила родственница, после чего тронулась с места. – Пойдем. Чего встал? У меня еще дела в городе».

Напыжившись, Владислав подтянул и плотнее прижал к себе тяжеловесную батарею чемодана, в грудной полости которого будто лежала запасная шина его проколотого сердца.

Родственница заставила Владислава, чуть ли не падающего в обморок от жары и смятения, пройтись с ней по магазинам и помочь донести покупки.

«Э, чего это тебя шатает как пьяного? – по пути домой, поинтересовалась Фемида Борисовна. – Смотри, как бы милиции не оказалось рядом, а то подумают, что ты в нетрезвом виде, еще задержат. Потом возись с тобой...»

Выглядел он и вправду измученным, лицо осунулось и сморщилось, слезы стояли в невидящих глазах, разыскивающих за бесчисленные преступления – одно из которых, конечно, большая любовь, сексуальное влечение к непреодолимому расстоянию, что, безусловно, отвратительная парафилия, преследуемая по закону и караемая преждевременной слепотой, а то и смертной казнью в газовой камере.

Человеку не нужно видеть дальше, чем предусмотрено стенами однокомнатной квартиры – а уж в такой Владислав прожил все свои двадцать пять, проживет и те, что осталось...

Спустя час или около того, они уже пришли к дому – такая же многоквартирная могила, многоэтажное кладбище, в каком он был похоронен с сотнями паспортизированных граждан-мумий еще в Кексгольме.

Иссиня-черные мешки теней под вытарашенными глазами пятидесяти проветривающихся балконов, десять тысяч безжизненных кирпичей, безусая мордочка подъезда, приветливо-беззубый рот дверного проема, высунутый язык запыхавшегося коврика под выгнутом козырьком крыши, а в глубине – открывшейся после того, как недовольная родственница придержала ему дверь – ввернута перегоревшая лампочка тонзиллитовых гланд.

«Дай я пройду вперед, – сказала женщина, прошмыгнув мимо него и придерживая панамку. – Ключи все равно у меня».

«А квартира-то какая?»

«Тридцатая. На пятом этаже».

Владислав стал подниматься по лестнице и всей онемелой мускулатурой чувствовал он при этом странный, расслаивающий его дискомфорт – словно его кожа, плоть и кости были всего-навсего презентабельным костюмом, в который облачилось нечто воздушное, стихийное, не способное удержи-

вать материю сочлененной.

Тарахтел трактор сердца, пот маршировал по шее вспотевшего Владислава, струился под одеждой преступно-крупными каплями, градинами, жандармами, превращая сгорбленную спину во французскую кинокомедию.

Поднявшись на очередной лестничный марш, Владислав округлившись от удивления глазами увидел карикатурное в своей отталкивающей вульгарности изображение мужских гениталий, напоминающих перевернутый молот между двух серповидных округлостей, а ниже размашистым почерком был выведен красноречивый призыв...

*«Вперед, в СССРсекс! Пролетарские болты всех стран – объединяйтесь!»*

На подоконнике, выпачканном каплями крови, стояла стеклянная баночка-пепельница и валялись использованный шприц и резинка.

«Ох, мерзость! Ужасная мерзость...» – сделав астматический вдох, мучительный для его невротического сердца, изнуренный одышкой, мямлящий что-то в сгустившейся дымке предобморочного умопомрачения, Владислав смутно запомнил оставшийся подъем по лестничным пролетам.

«Алкоголик чертов!» – буркнул голос ему в спину.

Наконец, шатаясь от немощности в ногах, он увидел свет и полуоткрытую дверь квартиры, из которой почему-то сочился гнусный дух неотремонтированной жилплощади.

От душливо-тошнотворной вони лакокрасочных матери-

алов и моющего средства у него голова пошла кругом и накатила боль в затылке...

Тьма, комната, тьма, комната. Где-то захлопнулась дверь холодильника, и с разбитым смехом вымытой посуды перемешалось чистящее средство от простуды.

В комнату вошла родственница и взмахом руки прогнала сидящие на карнизе шторы, как одомашненных птиц, и напустила в русскоговорящее помещение побольше света. В его лучах пыльно-горячий воздух трепетал, тревожился, искрился.

Владислав, еще минуту назад ничего не помнящий, вдруг обнаружил себя сидящим в кресле.

Как он там оказался, можно было только гадать.

«Тьху, – вздохнула Фемида Борисовна и мелькнула куда-то мимо него. – Уже даже продукты на пятый этаж поднять для него непосильный труд! Разочарование, а не мужчина... Сейчас я искренне не понимаю твоего отца».

Владислав было хотел спросить, о чем она толкует и причем тут отец, но мысль как-то быстро исчезла.

Располовиненный сервант в углу комнаты по прихоти бледной женской руки приоткрылся, что сопровождалось блистательным трюком: в зеркале вся обстановка, совершив обманно-вычурный маневр, сдвинулась. Многомерные предметы на секунду уплощились, а потом все поскакало обратно – отзеркаленной каруселью, лебединой вереницей растянувшаяся рать вещей куда-то побежала, угодив в замкнувшийся

туннель очередного зеркала.

Там Владислав среди промелькнувших объектов увидел самого себя в позе эмбриона, погружающегося в упругое чрево обрюхаченного кресла. В сравнении с остальной определенной и обусловленной материей выглядел Владислав весьма-весьма расплывчато и плачевно.

Было ему жарко, плохо – и сердце не хотело биться, будто из него вырвали, как пружину, причину жить, сокращаться, гнать кровь по венам...

К тому же, как выяснилось, прибыл он раньше ожидаемого срока («Ведь Виталий Юрьевич договаривался, что только к лету, а ты мне тут свалился на голову!»), обгоняя свое неотремонтированное будущее на пятнадцать суток.

Понемногу придя в себя, Владислав вспомнил надпись и художества в подъезде, и его лицо залилось отчаянным стыдом просто за то, что он стал свидетелем этого позора.

Он поднялся, постоял у окошка, проветриваясь и дыша, и, пихнув руки в карманы, вышел в коридор.

Поворотов, дверных проемов и углов было больше, чем он ожидал. Квартира оказалась внушительных размеров, хоть и слегка облезлой.

Углов, впрочем, везде и всегда было много. На улицах и в квартирах. Люди питали слабость к углам, стенам и пределам – все эти вещи появлялись в тех местах, где у человека возникала острая потребность отличаться от остальных и иметь личное пространство, свой кусок безопасного воз-

духа, которым можно дышать, не опасаясь от кого-нибудь подцепить национальность, информацию, концепцию, валюту, льготу, партию и все прочее, что может быть куда заразнее вируса иммунодефицита.

Очередной угол образовывался там, где холостяк-коридор, наконец остепенившись, вступал в брак с гостевой комнатой, родив троих детей-инвалидов – пузатый телевизор «Радуга», уродливый диван и кособокое кресло.

«Чего руки по карманам прячешь, как купюры крупного номинала? Видишь, что таскаю мешки... Помог бы хоть!» – сказала родственница, тягавшая продукты, оставленные Владиславом у порога, на кухню.

«Помилуйте, – он растерялся. – У меня с недавних пор привычка».

«Отучивайся, – в металлическом голосе женщины прозвучала профессиональная строгость школьной воспитательницы. – Раз явился несвоевременно, будешь ремонт доканчивать».

«Доканчивать?! – Владислав наморщил свой широкоугольный лоб с запрятанной в нем, как купюра в матрасе, морщиной. – Так тут еще даже ничего не начато!»

Женщина остановилась, выпрямилась и посмотрела в его прищуренные, слезящиеся от напряжения глаза.

«Вот ты и начнешь. А не нравится, то езжай обратно в свой ненаглядный Кексгольм. Может у вас там привыкли в бардаке жить, но не у нас... – и, уходя в другую комнату, в

полголоса пренебрежительно фыркнула. – Виршеплет!»

Смиренно-беспомощно, как никому конкретно не адресованное письмо в бутылке, Владислав побарахтался в уплывающем коридоре, демонстрирующем ему свои выbleванные линолеумные ладони.

«Ну, вот я и дома... – подытожил он. – И, в целом... Стены тут по-своему хороши».

Постояв, он наконец прошел в комнату – уютная, хотя и пустая, дрожащая от страха под крупномасштабным вторжением окна, наполненного соседними домами, улицами и прочими линиями самого общего назначения, появившимися задолго до человечества оттуда, куда глаза глядят.

Не торопясь, Владислав принялся разбирать чемодан.

Среди вещей, привезенных им из прошлой жизни, была помятая тетрадка со школьными стихами (правда, свой почерк он вряд ли сумеет расшифровать), а также футляр очков, которые, впрочем, оказались отцовскими. Видимо, второпях и сослепу перепутал.

«Ох, у меня ведь зрение хуже... Как же я буду?!» – плохо он видел с раннего детства, но в последние годы экономика его расточительных глаз, слишком жадно пожиравших спасительное пространство, пребывала если не в депрессии, то в стагнации.

Будущее, за которым Владислав гнался, казалось, не просто опережало его – с ним вообще невозможно было поравняться.

Оно было как бы промахом, априорным непопаданием по несуществующей цели. Бесконечность была преградой для взгляда, вывешенного проветриться.

Может ему там, в будущем, просто нет места? Его там, тут, не ждали. Раньше он только думал об этом, а теперь чувствовал.

И это угнетало...

Не сказать, что и эта комната встречала его с распростертыми объятиями.

А как все-таки хорошо жилось там, в Кексгольме, в их старой квартирке с родными стенами!

Он не чувствовал себя загнанным в угол, не чувствовал себя неоправданным излишеством, чем-то таким бесполезным, как ресница для однокомнатного глаза, которую хотелось выковырять вместе с ее локтями, коленями и прочими заостренными углами и местами сгиба...

«Эх, что поделать», – особенно не надеясь, что подойдут, Владислав подступился к зеркалу и примерил отцовские очки.

Смотрелись они неплохо, только непоседливо ерзали на переносице, как школьник за минуту до звонка с урока, а кривоватые дужки натирали виски, да и окружающий мир сквозь заляпанные стеклышки, хоть и казался менее незнакомым, больше походил на меблированное сновидение, где каждая простейшая вещь обещала ему осуществление чего-то гораздо большего, чем то, что изначально допустимо в



материальной природе.

«Угу...» – удовлетворенно кивнул он самому себе.

Едва Владислав успел присесть, чтобы продолжить разбирать чемодан, как в проеме двери вырисовалась Фемида Борисовна с видом явного недовольства.

«Куда?! – громко спросила она, так что Владислав даже подпрыгнул с дивана. – Запомните хорошенько, Владислав Витальевич, что я не желаю видеть вас бездельничающим до тех самых пор, пока не будет закончен ремонт. Это вы усвоили, я надеюсь?»

Он кивнул, открыв рот и не зная, что ответить.

«Славно, – подытожила родственница и прежде чем уйти добавила. – Кормиться, кстати, будешь за свои деньги. У тебя они есть, я надеюсь? Холодильник у меня не бездонный. И кошелек тоже. Тунеядцев мне не надо, а эпоха твоих виршей – осталась в сталинских лагерях. Коммуняка липовый».

Дверь с размаху захлопнулась, и Владислав содрогнулся всем своим студенистым, захлебывающимся существом.

От испуга кольнуло в сердце, с отрывисто-отчетливым грохотом распахнулась в его затылке форточка, и ветер бросился перелистывать тени комнаты, как страницы школьного дневника, и существование выветрившегося Владислава казалось чем-то неоправданным, неподтвержденным, недо-стоверным.

Он чертыхнулся, вспомнив, что хотел по дороге купить пачку сигарет в каком-нибудь киоске, но теперь уже поздно.

Никуда высовываться совершенно не хотелось, а уже тем более пересекаться с теткой-злопыхательницей.

Она всегда недолюбливала его мать Людмилу, полоумную коммунистку-поэтессу.

А между тем ее стихи, обращенные к бессмертному – родине, обществу, труду, семье, социал-демократизму и заботе о детях – до сих пор стояли в Кексгольмской детской библиотеке и были весьма популярны и любимы как детьми, так и их родителями.

*«Вытрави рептилию царской теократии,  
Спасись от крепостной хрестоматии,  
Прими алую розу социал-демократии!»*

«Эх!» – с усталым сожалением (всею, на что была способна его сломленная воля) репрессированный Владислав отложил вещи, огляделся и заметил, что в комнате еще не привинчен карниз и нечем будет зашториться от чужого, жуткого пространства снаружи, нечем спастись от своего взгляда на окружающий мир, в котором теперь нет ни матери, ни отца.

### 3

В школьные годы, не имевший твердо закрепленного за ним ярлыка профессионального ранга и удовлетворяющей запросам квалификации в чем-либо, Владислав из-за своих нечеловеческих габаритов очень просто вписывался в ряды чернорабочих, в состав быстро расходуемой, заменимой силы.

К шестнадцати годам довелось ему поработать то там, то сям (и стеклоизделия отжигал, и подоы ломал, и струбцину спрессовывал, и сетки натягивал, и абразивы выгружал, и шпон лушил, и ткань взвешивал, и белье отжимал на центрифугах, и целлюлозу месил, и спичечные коробки намазывал, и стержни прессовал, и пиломатериалы пропитывал, и станочником-распиловщиком успел побывать), но работал всегда под руководством квалифицированного напарника или в паре под присмотром отца на деревообрабатывающем заводе, куда Владислава без труда оформляли на лето, с улыбкой встречали, угощали чаем и мягкой послеобеденной булкой.

Не подозревал Владислав, с какой радостной гордостью, едва ли не со слезами на глазах Виталий Юрьевич на пятиминутных перекурах рассказывает соратникам-коммунистам о своем трудолюбивом младшем сыне Владике, о своем надежном воспитаннике, который в пятнадцать лет уже стал самостоятелен, уже везде поработал, уже возмужал и ужасную се-

мейную трагедию, которая чуть самого Виталия Юрьевича не свела в могилу, перерос!

Помнил Владислав, какое к нему отношение было в коллективе. Каждый товарищ отца, заражавшийся его восторгами и гордостью, проходя (с тележкой, переполненной деталями стульев или налегке) мимо рабочего места Владислава, считал своим долгом непременно остановиться и поощрить его добрым словом.

«Молодчина, Владислав! – говорили они, широко улыбаясь замороченному трудяге-школьнику, вымирающему виду трудящегося. – Вот он, полюбуйте на этого запыхавшегося стахановца, гордость своего отца! Владик, ты бы хоть на перекур, что ли... Вернее, на передых, ты ведь не курящий у нас! Нет, я серьезно, Влад, давай на перерыв, с тебя уже пот градом, хоть выжимай. Духота нынче адская. Слышишь? Я покараулю сушилку за тебя полчаса, а то ты прямо герой эпохи ренессанса социалистического труда. За всех работу делаешь. Побольше бы нам такой молодежи, конечно... Эх, побольше бы, а то стариков за сверлильными станками все чаще увидишь, а молодых – все реже! У них то шприцы, презервативы, секс... Ох, что делается!»

Владислав пошел на перерыв, чтобы умыться лицо, а заодно прогулялся по жужжащему муравейнику распиловочного цеха, где в тот день работал Виталий Юрьевич.

«Эй, пап! – громко позвал Владислав и похлопал отца по плечу. – Пойдем на перекур! Мне с тобой поговорить надо!»

«Ну, пойдём... – Виталий Юрьевич выудил из нагрудного кармана рубашки помятую пачку сигарет. – Э, Денис! Пригляди тут, я отойду на пять минут, ладно?! – и, положив мускулистую руку на плечи Владислава, как хомут, расхохотался и потащил его к выходу из цеха. – Ну как работа, Влад?! Спорится?!»

«Нормально! – они вышли под открытое небо, лучившееся неестественной голубизной и выплавлявшее ярко-белые облака. – Слушай, пап, я поговорить хотел...»

Виталий Юрьевич, улыбаясь, сунул сигарету в зубы и чиркнул спичкой.

«Ну вперед, говори», – сказал он.

«Я не хочу больше учиться. Я уже все для себя решил, – проямлил Владислав. – В школу я в следующем году не вернусь. Не хочу... Мне там ловить нечего. Бесплезное дело. Только зря теряю время. Останусь работать на заводе. До конца жизни буду тут».

Виталий Юрьевич обалдело усмехнулся.

«Ты что, Влад... – проговорил он, чуть ли не роняя зажжённую сигарету изо рта. – С чего это вдруг?! Не пойму, зачем тебе оно надо?!»

«Это бессмысленно, – ответил однозначно Владислав. – Мне не место в школе. Я хочу быть ближе к старшим. К взрослым. Хочу работать».

«Нет, так дело не пойдёт, – проговорил Виталий Юрьевич. – Конечно, ты у меня молодец, что понимаешь важность

труда, да только не надо никуда торопиться. Я хочу, чтобы ты диплом получил. Закончил школу, а потом продолжил обучение. Даже если хочешь работать здесь или где-то еще, без дальнейшей учебы ты далеко не продвинешься».

«А я и не хочу никуда двигаться, – буркнул Владислав и вдруг поймал себя на мысли, что сейчас разрыдается. – Я уже там, где хочу быть! Мне больше ничего и не надо... Работа есть, что еще?! Я думал, ты обрадуешься и согласишься со мной. Понимаешь?! Я здесь хоть полезен... И не хочу ничего менять. Пусть все остается как есть».

Они недолго постояли в молчании, и Владислав вдруг ощутил дискомфорт. Кажется, их разговор слышали рабочие, перекуривавшие неподалеку стайкой. Они видели их лица, рассыпанные, как корм для голубей, и всем этим лицам, глядящим на него и выпрыгивающим без парашюта, Владислав был не нужен – ему казалось, что они даже посмеиваются над ним. Для них, с его ростом, деформациями тела и странными речами, он был всего-навсего излишне сложной подробностью простенькой перспективы, подлежащей сносу.

Он смотрел на них, желая отвернуться, но не мог, хотя и была возможность выбора. То есть для конъюнктивы важнее предлагаемая возможность и условия, нежели сам выбор, но не для роговицы.

Поэтому, обняв самого себя и дожидаясь слов отца, Владислав стоял, не пытаясь никак угождать очевидцам его слу-

чайного бытия, чей интерес к нему постепенно угасал. Он не пытался угождать их глазам, похожим на простуду или на нераскрывшиеся парашюты, так и не встретившим золотой век коммунизма и обещанную эпоху общемирового прогресса.

«Послушай-ка, Влад, – Виталий Юрьевич поджал губы, пульнул окурок на землю и притоптал. – Хочу, чтобы ты понял одну вещь. Рано или поздно, там, где надолго задерживаешься, ты всегда становишься невидимкой. Это неизбежно и неизменно. Просто через пару лет ты поймешь, что отношение к тебе поменялось, а может, всегда и было таким... В любом случае, ты еще слишком молодой, Влад, чтобы вдруг обнаружить, что потерял свое место в мире».

«Ничего я не терял! Мне и тут хорошо! И хватит на меня такими глазами смотреть! – распахнулся Владислав и отмахнулся. – Все! Я свое последнее слово сказал. Я бросаю школу! Мне не нравится отношение ко мне. Мне не нравится там абсолютно все! Ноги моей там больше не будет. Это мерзкое место».

То было, казалось, настолько давно, что скажи кто Владиславу, то он и не вспомнил бы, как говорил такие слова, не вспомнил бы, что в его жизни был ускользнувший момент, когда он ощущал себя востребованным, нужным, полезным. Возможно, будь он умнее в те годы, он бы добавил, что каждый человек – это великовозрастный ребенок, учимый жить по пятибалльной шкале, ставший жертвой педагогического

субъективизма и агрессивной экспансии, и с трудом выбравшийся из мира заниженных оценок и завышенных ожиданий. Но он не был умнее...

Сейчас же с работой приходилось туго. Несмотря на свой рост и кажущуюся могучесть, под одеждой Владислав был худощав и сухоребер, а в последние пару лет физический труд он стал переносить совсем плохо из-за терзающей его сердечной хвори и астматических фортелей, которые выкидывали его прокуренные бронхи.

После некоторых предварительных изысканий (спасибо косвенным связям родственницы) и ста минут запыхавшихся телефонных разговоров конформисту Владиславу повезло, хоть и сомнительно, но утвердиться в безымянной должности в редакцию безымянной газеты.

Требования, предъявляемые ему, были бесхитростны и не нуждались в наличии его бесконфликтной и приспособленческой личности: на все необходимо закрывать глаза, забыть о существовании сторон, мнений, беспринципно перепечатывать любую ложь, правду и факт, ничего не обсуждая, безостановочно приумножать скоропортящийся продукт массовой информации.

Поставив подпись, Владислав, как ему казалось, был готов выйти на работу уже в следующий понедельник.

«Ну как, взяли? – поинтересовалась родственница, не успел Владислав переступить порог квартиры. Коротко ответив, что взяли, он снял туфли и стал расстегивать пиджак. –



Молодец, – без энтузиазма похвалила она. – К слову, хочешь быть молодцом вдвойне, подклей уголок обоев у себя в комнате, чтобы было не придрататься. Ладно? Ко мне сегодня гости придут. Дальняя родня. Поминки твоей мамыши...»

У Владислава брови поползли вверх по лбу от удивления самим собой – и как он мог забыть?! Совершенно вылетело из головы.

«И отец будет?!» – спросил он.

Фемида Борисовна пожалала плечами.

«Насколько я знаю, нет. В любом случае, до их приезда, будь добр, приведи квартиру в порядок, – Владислав только сейчас заметил, что родственница прихорошилась, принарядилась и теперь встала перед зеркалом, взяв гребень и с рвуще-расчесывающим звуком принялась прохаживаться им по перепутавшимся волосам. – Я не хочу, чтобы тут был такой бардак, когда соберется народ. А я пока пройду по магазинам. У тебя часа три, не больше».

Владислав с готовностью кивнул и, отступившись, дал родственнице пройти.

«Ах да, чуть не забыла... – застопорилась она в дверях и пригвоздила сожителя к стенке недобрым взглядом. – Ты пылесосом, случаем, не пользовался?»

Владислав понял, что в вопросе кроется подвох, и только нерешительно качнул головой.

«Так вот он сломан. Как так получилось, что он забился краской? Я сегодня пыталась пропылесосить ковер в гости-

ной, и догадайся, что случилось. Ты что, мой драгоценный, пролил краску и решил ее убирать пылесосом?!»

Владислав сглотнул и его губы расплылись в улыбке-конфузе.

«Нет. Я просто думал использовать пылесос как краскопульт», – объяснил он.

«Чего?! Господи боже... Какой еще краскопульт?!» – удивилась родственница.

«По инструкции все должно было работать».

«Господи, Влад, по какой инструкции?! Ты что?! Она ведь от старого пылесоса! Этим нельзя наносить краску! Ужас какой-то! Читать умеешь? Или в школе не научили? Ладно... – она мельком глянула на наручные часики и распахнула дверь. – С первой полочки жду новый пылесос. Не думай, что я буду платить за твою безалаберность. Все, я ушла... – дверь закрылась за ней, и раздался усиленный эхом голос. – Три часа!»

Наведение порядка сводилось к многофункциональному перемещению вещей. Не желая терять времени, Владислав прикрутил карниз у себя в комнате, повесил шторы, а вместо изолированной лампочки (похожей чем-то на неудавшуюся виселицу) в центре комнаты приладил лебединую люстру.

Оставался еще час, и Владислав решил протереть окна, у которых, как и самого жильца, наблюдалась повышенная потливость по утрам, нервозность и нешуточная неуверенность в завтрашнем дне.

Неохотнее всего он взялся за клей и кисточку, чтобы подклеить уголок обоев.

С ними он мучился со дня приезда, а теперь даже смотреть на них не хотелось. Не успел он поклеить их, как они тут же срослись со стенами, стали их безнадежной кожей и предприняли попытку развить исторические сложившиеся оборонительные функции стен, прибавив к ним возможность стать национальным достоянием и культурной ценностью, привлекательной для его глаз-вырожденцев.

Их затейливо-тошнотворный узор, в котором было нечто отталкивающее, все время пытался втянуть взгляд Владислава в бездоходный обмен мнениями, пытался вступить в молчаливую беседу с его выпитыми глазами, постоянно погруженными в консервирующую жидкость ностальгических переживаний и обращенными в прошлое, которое он не хотел отпускать.

Справившись с последним делом, он решил немного передохнуть. Упав на диван-кровать, он окинул взглядом комнату, в которой неожиданно узнал несокрушимое единство стен, держащихся за руки и оплакивающих пол, уходящий у него из-под ног, узнавал непритворную тяжесть судорожно сглатывающего потолка, и, узнавая все это, Владислав даже прослезился.

Прослезился потому, что ему досталась не какая-то определенная жилплощадь с тараканом Петькой (лучшим другом бесприютного детства) за газовой плитой, но умение в

этой квартире, увеличенной ностальгической слезой, увидеть именно ту квартиру, в Кексгольме, в которой он когда-то жил...

Вечер в окне был отмечен пунктиром фонарей, как шея душенного – глубокой странгуляционной бороздой.

«Владик, а, Владик, – помигивая серо-голубыми глазами, толкала его в плечо тетя Ирина. – Скажи-ка, а ты уже присмотрел себе невестку?»

Владислав, втянув плечи и ссутулившись, чтобы уместиться, сидел за столом между брюнетистой тетей Ириной и непрерывно посмеивающейся Фемидой Борисовной, вспоминая недавние часы блаженного одиночества и отравляющей саморефлексии.

«Куда ему невесты! – сказала Фемида. – Ты чего такое говоришь, Ира?! А ну не смей смущать моего мальчика, не в том он еще возрасте, чтобы о таких вещах думать!»

«Брось, Фемида, – отмахнулась брюнетистая тетушка, придерживая Владислава за оттопыренный локоть, в котором сосредоточилось все то небольшое мужское, что еще оставалось в мужчинах. – По-моему, Влад уже довольно зрелый молодой человек, ты так не считаешь? По крайней мере он созрел для разговоров о здоровой эротике и духовной любви... Хотя ты права, быть может, что забегать куда-то дальше рановато, но, в конце концов, подобные разговоры способствуют деинфантилизации и подогревают мальчишеское любопытство к благам родительства и семейной жизни...»

Владислав, скорчившийся от упоминания психологической терминологии, попытался вставить свои пять копеек, пробормотав, что у него до женитьбы просто еще руки не дошли.

«Ничего удивительного! – судейским тоном заключила незнакомая женщина, сидевшая не за столом, а в кресле, читая газету. – В таких серьезных вещах, как регистрация брака и семья никакого канатоходства и акробатики быть не может и не должно!»

«К слову о браке! – Фемида Борисовна с загадочной улыбкой поднялась из-за стола и извлекла из ящика под телевизором фотоальбом. – У меня же тут завалился старый-престарый альбом Виталика и Люды! Ну, кто хочет посмотреть?!»

Обложку положенного на стол альбома испестряли удачные вырезки из неудавшихся фотографий (может, чья-то гримаса портила увековеченный момент или появление пьяного родственника, какой-нибудь отсвет, в конце концов), все кадры с разных времен, будто краткий пересказ содержимого – и только внутри становилось чуточку поинтереснее. Сперва шли черно-белые фотокарточки периода комсомола, когда Виталий и Людмила только познакомились и еще даже не думали, что будут состоять в браке.

Следом за этим девятнадцатилетний Виталий Юрьевич (чью мужественную внешность отметила тетя Ирина), уже отслуживший в советской армии – стоит на танке, одетый в шапку-ушанку, тельняшку, потрепанные шорты и унавожен-

ные сапоги, нога на гусенице, на плече не винтовка, но лопата, и перечеркнутая сигарета, как гвоздь, забита в криво ухмыляющийся рот.

Дальше он же, но уже вернувшийся на родину в двадцатиднолетнем возрасте и немедленно взявший в жену красавицу-комсомолку Людмилу, розовощекую и дебелую.

«Красавица! Какая же она была красавица...» – умиляясь, сказала тетя Ирина.

Действительно, заметил Владислав, его мать была очень привлекательной женщиной, несмотря на некоторую корпуленцию (с годами, впрочем, она сильно исхудала) и привычку выходить из царственных тазобедренных берегов незапланированной беременностью. И, глядя на нее, Владислав вдруг осознал, что беременность – это не вымысел, а реально существующее заболевание, передающееся половым путем.

Но мысли его вскоре вернулись к матери, к ее нестаряющему лицу. Обращал на себя внимание эксплицитный педоморфизм, невредимый возрастом очерк ее девичьего лица и бархатных, бледно-розовых рук.

Сколько Владислав ее помнил, она всегда, что на фотографиях, что в последние годы жизни, выглядела одинаково молодой и, видимо, Виталия Юрьевича подкупили в первую очередь не ее человеческие качества, а примитивный, первобытный половой инстинкт – уж слишком ему хотелось разместить в ее территориальных водах свою сублимированную субмарину, – этот инстинкт и обвел обрадованного остолопа

вокруг окольцованного пальца.

Так Виталий Юрьевич нашел Людмилу и, кажется, заслуживал ее корыстной любви, жаждавшей только четырехразового деторождения и свержения тиранихи-матери с престола матриархального превосходства. Даже Владислав помнил, как мамаша упрекала Людмилу в том, что та мало рожает и не быть ей матерью-героиней!

«Злая была женщина, – пробормотала Ирина, – я ее немного помню. Очень злая и... какая-то совсем бешеная. Неприятная особа, уф!»

«Ой, и не говори», – поддержала Фемида Борисовна.

Следующие страницы занимал ряд последовательно датированных фотографий, за кадром которых чувствовалось присутствие случайно выбранного из толпы прохожего, который становился соучастником их преступного брака и первой беременности, когда родился сын Виталик, названный в честь отца и, предполагалось, вынужденный повторить его судьбу.

Были фотографии на фоне крупного крупа конского памятника, под дубом, вокруг которого рассыпаны желуди, на фоне покрашенной скамейки, рядом с которой суетились сизо-голубые голуби, а дальше – постоперационный Виталий Юрьевич, у которого уже наметилась округлость живота, утратившего способность уклоняться от ударов ниже пояса, и все четче среди изнуренных черт его лица вырисовывался восход солнца тридцатилетия и подъем альпиниста по

имени возраст.

С гладко выбритой физиономией, застанный врасплох наплывом светло-сиреневой тени, он стоял, о чем-то задумавшийся, а рядом с ним, держа его под локоть, стояла Людмила, и ее воздушно-вздувшееся платье с узором васильков, клевера и выцветших после стирки пионов казалось Владиславу недостающим фрагментом лужайки. Ее внезапно разросшийся живот, на предыдущем фото лишь отдаленно проступавший, возмещал долговременный промежуток между двумя датированными фотографиями.

Глаза женщины были непритворно-живыми, необъяснимо-яркими, спелыми, как два солнца и какими-то... слишком увлеченными жизнью. Стоя рядом с угрюмо-серьезным Виталием, Людмила выглядела как прохладительный напиток. В ней кружились лепестки особенной, заварной любви и нежности, в ее обманчивых мечтах – фруктовый компот, а в ее больной душе – пюре из шиповника.

Виталий же больше был похож на богопротивное рагу с упаднической начинкой, нигилистическую гниль, приторный десерт многолетней депрессии.

«Гляньте, подруги, – ткнула пальцем в фотографию Фемида Борисовна. – А ведь Влад, все-таки, вылитый Виталя! Не отличишь!»

Владислав удивился.

Он действительно был похож на отца, словно это была его фотография сейчас, только вот Виталий Юрьевич был куда



привлекательнее, даже несмотря на вытянувшееся, угрюмое лицо.

Неожиданно эта похожесть стала главной темой разговора, и Владислав, будучи единственным тут, благодаря чьему присутствию можно было наглядно сравнить прошлое с настоящим, вновь оказался в центре внимания, как еще теплый труп на столе патологоанатома.

Он будто сейчас изучал историю болезни их семьи.

Все, что они сохранили, что пытались сберечь и продлить с помощью своих детей, их национальное достояние и неприступные бастионы детородного генофонда – все это было историей их многовековой, коллективной, затянувшейся болезни, пик развития которой пришелся на Владислава.

В фотоальбоме оказались и его снимки, в самом раннем возрасте, где он, слегка засвеченный, восседает на коленках Людмилы в слюнявчике и штанишках с подтяжками, а вот уже девятилетний Владислав, переросший на полголовы старшего брата Виталика, но, к сожалению, за такое превышение скорости был оштрафован худобой, непрочностью скелета и одышкой. Что касалось телосложения и даже некоторых черт внешности, Владислав пошел больше в отца, чем в мать, но при всей этой соблюденной похожести на Виталия Юрьевича Владислав оставался его копией только на поверхности – там, где блестело солнце будущих залысин, где отражались птицы пролетающей расчески, и обнаруживалось существование незримого воздуха, соприкасавшегося с замут-

ненной водой неутомимых мыслей.

Был у Владислава тот же, только еще более внушительный рост, наморщенный бронетанковый лоб, та же поза, которую неусидчивость Владислава сводила к фикции. Спина у него нырком, грудь – орлом, подбородок – сверкающим локтем начищенной ложки, а руки – Христом, когда с него снимали мерку в ателье.

И из-за этих неожиданных пересечений между отцом и сыном собравшимся женщинам казалось, что Владислав неминуемо должен если не повторить его жизненный путь и его судьбу, то, по крайней мере, стремиться ему соответствовать.

«Да, хороший он мужик, работающий, надежный...» – со вздохом некоторой грусти сказала тетя Ирина, положив свою теплую ладонь на похолодевшую руку Владислава.

## 4

Часами пропадать на безликой работе и постепенно превращаться в засиженный, покрытый плесенью четвероногий стул прямоходящего человека поначалу даже было в удовольствии.

Ярко-желтое, однобокое, осажденное примитивными кустарниками здание прежде принадлежало горкому коммунистической партии (и заниматься здесь антисоветской деятельностью все равно как изменять жене в ее же постели), но с недавних пор здание было расформировано и распределено.

Сам Владислав трудился в одиночестве, в полуподвальном погребе со шкафами-архивами.

В перепланированном правом крыле здания расположились в пустых клетках одноразовые пешки-заседатели народного суда. Левое крыло преобразовалось под умеренного типа нотариальную контору, где над разнородными бумагами размышлял еженедельный еврей.

К нему, еврею то есть, Владислав бывало с утра по понедельникам забегал на чай, на полнометражную шахматную партию, перебивавшуюся рассказами Владислава о том, как еще в юности они с Виталием Юрьевичем любили вот так вот беспечно проводить время...

Да, вот были времена!

Никогда он не устанет о них скучать. Хотя, в сущности, восьмилетний Владислав всего-навсего дурачился. Играть в шахматы он никогда не умел, лишь напрасно повторял за раздражающимся отцом все его продуманные ходы.

Но из-за такого подхода сын всегда уступал отцу на шаг, а если когда-нибудь и удавалось разгромно располовинить шахматную доску, чтобы у обоих затравленных игроков осталось лишь символическое число фигур и одуроченный голый король, прикрывающийся, как листиком, фиговой пешкой, то все равно Владиславу ни разу не удавалось переломить момент, сдвинуть партию в свою пользу и обхитрить никогда не поддававшегося отца.

«Ты нарочно, что ли, не замечаешь, – прохладно, с усталостью говорил Виталий Юрьевич, – что я неправильно хожу? Намеренно повторяешь за мной. Ты же прекрасно знаешь, как ходит конь! Я тебе объяснял уже тысячу раз, да ты и сам видел...»

Владислав на это только полуулыбнулся-полуоскалился, и выражению его лица нельзя было дать однозначного толкования.

«Чего лыбишься? Какой интерес во всем этом? Я будто со своим отражением в зеркале играю! Если не хочешь играть, то...»

Владислав с протестом подпрыгнул на стуле.

«Нет, хочу!»

«Ну если хочешь, то будь добр, играй с умом, а не бездум-

но балуясь! Да-да... и не надо делать кислую мину. Ты сам подумай, Влад, научишься ли ты чему-то, если будешь бес-толково повторять все, что делаю я?»

Владислав, прищурившись, смотрел отцу в глаза, будто искал там ответ на вопрос.

«Ну-с... Чего молчишь? Нечего сказать? Вот именно. Сам все прекрасно понимаешь. Надо учиться шевелить своими мозгами, а не валять дурака в таких серьезных вещах... – Виталий Юрьевич нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. – Ну-с, доигрывать будем или нет? Твой ход сейчас. Только не повторяй за мной».

В ответ на это Владислав высовывал язык и принимался барабанить по столу, злонамеренно опрокидывая фигуры.

Повзрослев немного, пересилив хотя бы отчасти свой органический инфантилизм, Владислав все же увлекся играми, правда теми, что попроще – где была возможность своеобразного фукса. Где победу, как и поражение, можно было истолковать вмешательством случайности: например, в поддавки, в русское лото или даже домино, к которому они с еженедельным евреем переходили в промежутках между затянувшимися шахматными ходами и Владиславовыми воспоминаниями о детстве.

«Так ваша матушка, вы говорите, была поэтессой? – поинтересовался еврей, пока Владислав размышлял над очередным ходом, с трудом сдерживаясь от того, чтобы просто-напросто повторить за соперником. – Знаете, я подозревал...

Я имею в виду, что у вас взор поэта, Владислав Витальевич».

«Взор куда?»

«В стихи. Попробуйте как-нибудь. Думаю, у вас прекрасно получится. Вы мне одного моего знакомого напомнили. Поэзия у него была живая и пронзительная, под стать взору. Как у вас».

«Взор – высокопарное слово. А кто высоко парит, тот, как известно, больно падает».

«Это вы словами играетесь, как на воображаемых струнах без гитары».

«Мы играем или нет?»

«Так ведь ваш ход!».

«Да, верно... Что-то я совсем, – булькнул Владислав и, вытянув руки, хрустнул костяшками пальцев. – Игрок из меня никудышный. С отцом сыграли бы, он любого обыграть мог. А у матери, да, хорошо получалось рифмовать. И даже со смыслом. С красотой. Правда, она была требовательной. Очень требовательной. Думала, что я тоже буду писать стихи, что буду пионером, комсомолом... Очень боялась, что я ее опозорю... Пыталась в меня вдохнуть все это. И я даже в школе и пару лет после ее смерти писал и грезил, вот только... – он поднял руку, казалось, готовый сделать ход, но вместо этого прикрыл ладонью липовый вздох задумчивости. – Вот только у меня содержимое отличается. Не годится для поэзии».

«Содержимое? Это как понимать?»

«Как понимать, вы спрашиваете? – Владислав оторвал взгляд от доски и украдкой глянул в окно, где плыла созревшая яйцеклетка облака, и восставал из удушающего индустриального мрака доминирующий пенис фабричной трубы, победно эякулируя в порванный презерватив неба, в выскобленную матку антиматерии. – А так и понимать. Во мне ничего... святого. Одна грязь, гнили и ужасы».

Но еженедельный еврей только снисходительно-ободряюще улыбался.

«Вы просто потеряли ориентиры, позволю себе предположить, – сказал он. – Это нормально в наше время, когда спали все запреты. Освобождение от невроза. Смена ценностей... И валют. А вы человек еще молодой, впечатлительная натура. Может, поэзия вам бы помогла самоопределиться, прийти к какому-нибудь умозаключению. Синтезировать сущностное и вычленив конкретное...»

Но Владислав его будто не слышал, уйдя с головой в шахматную партию – отступать было некуда, шаг влево, шаг вправо, расстрел.

Все линии и схемы судьбы просматривались заранее и оканчивались тупиковым повторением бессмысленных комбинаций, словно Владислав столкнулся с каким-то всевышним гроссмейстером и чувствовал себя перед ним совершенно обнаженным.

И мысль о наготы настолько захватила его слабосильное сознание, что он неожиданно даже для самого себя подско-

чил со стула, трахнув коленями по столу и опрокинув доску – все шахматы рассыпались по кабинету, а сам Владислав прикрывал свой срам огромными лопатами-ладонями, выпучив на недоуменного еврея глаза.

«Простите, Ицхак Авраамович! – сквозь панический стыд выдавил Владислав, багровея лицом. – Это... Я... Не знаю... Это случайно получилось! Я все сейчас соберу. Просто потерялся в пространстве. И времени. У меня такое бывает».

Он опустил на пол и стал подбирать фигуры, на ходу пересчитывая и заглядывая в каждый угол в поисках потерявшейся пешки, которую незаметно для него Ицхак Авраамович уже прикарманил.

«Вы выглядите каким-то очень испереживавшимся, – заметил он, протирая стеклышки очков. – Если бы вы у меня спросили, я бы вам посоветовал попробовать выразить свои переживания...»

Владислав, чертыхнувшись, поднялся и расставил шахматы на доске, не досчитавшись одной-единственной.

«Да-да, благодарю, – пробормотал он. – Я в скором времени позвоню отцу. Поговорю с ним».

«Нет, я имел в виду путь творческий, поэтический... Впрочем, если вы не хотите, то лучше не братья. Принуждение, поверьте, в таких вещах не способствует вдохновению».

Владислав, тяжело дыша от волнения, присел на стул.

«Сейчас, я минутку отдышусь... Да, вы совершенно правы. Принуждение не способствует... Но со мной все гораз-



до хуже, я это начинаю потихоньку осознать с тех пор, как переехал в Ленинград».

Ицхак Авраамович опустился на компактный, комфортабельный диван в углу помещения и прикусил дужку очков, поглядывая на Владислава в ожидании продолжения.

«Это трудно объяснить», – сказал он, поднявшись и продолжая бродить по кабинету в поисках потерянной пешки.

«А вы попробуйте».

«Ну, попробую. Просто, понимаете ли, все вещи... они вроде состоят из слоев. У вас никогда не возникало такого ощущения? Я хочу сказать, что, например, когда иду по подъезду и вижу окурок на лестничной площадке, – Владислав отмахнулся. – Нет, это неудачный пример. То есть это другой пример...»

«Вы продолжайте, развивайте мысль».

«Допустим, я вижу этот окурок, брошенный кем-то. Он лежит. И я смотрю на него и пытаюсь оправдать его существование. Придумать причину, по которой он должен был там лежать. Чтобы он не просто валялся бессмысленно, понимаете?»

«Кажется, понимаю. Но все еще не до конца».

«То есть я хочу сказать, что у каждой вещи есть история ее появления – но бывает и так, что вещи становятся пережитками эпохи или общественного строя, к примеру. И только тот, кто помнит, для чего эти вещи нужны и как ими пользоваться, может разглядеть эти невидимые, старые слои. И сей-

час, после переезда в Ленинград, после этой так называемой перестройки – что бы под ней не подразумевалось! – я начинаю чувствовать, что сам превращаюсь в один из пережитков. В одну из таких вещей, которая просто куда-то закатилась... В пыль, в темноту. И может, лет через сто, а то и позднее, кто-нибудь ее обнаружит, изучит со всех сторон и выбросит, понимаете? Потому что эту вещь создал сумасшедший, который просто-напросто происходил из ниоткуда. Из безвремения. Из несуществующей эпохи. Он создал вещь, которой нет применения. Вещь бессмысленную и бесполезную. Вещь без функции. Без коммунистического потенциала, так сказать. Вещь, которая имеет форму, неотличную от своего содержания. А это, согласитесь, просто абсурд».

Ицхак Авраамович извлек из кармана потерявшуюся фигуру и принялся задумчиво крутить ее пальцами, после чего улыбнулся.

«Так ведь это хорошо, разве нет? Рассудите сами, Владислав Витальевич. Я так понимаю, под этой бессмысленной вещью, вы самого себя подразумеваете? Но ведь оттого у вас и свой путь в жизни. Просто вы его еще не нашли. Это у меня, скажем так, более практичное, насущное... И, думаю, что если я потеряюсь, то мне быстро подберут замену. Потому что таких как я в мире много, а вы – один».

Владислав усмехнулся.

«В том и дело, что один».

## 5

Возвращаться на квартиру где жил, в тот вечер не хотелось. Лучше бы вместо этого Владислав вечность искал потерянную шахматную фигуру, потому что это простая и ясная цель – искать то, чего не нет, то, что не было потеряно, то, что даже найти нельзя.

Разговор с Ицхаком Авраамовичем оставил его подвешенным в пыльном шкафу среди шариков нафталиновой ностальгии, апатичных чувств и осознания собственной бесполезности и ненужности даже этому бульвару, по которому он шел и который просуществовал бы и без полуслепого Владислава взгляда. Ведь под это взгляд приходилось подстраиваться расстоянию и пространству, потому что он искажал перспективу, а уж когда к нему добавлялось головокружение...

Как, вот, сейчас.

В такие минуты Владислав, казалось, начинал понимать, что серьезно болен. Однако в отношении своей предполагаемой болезни оставался одержим, умышленно пассивным.

Ему не хотелось идти в поликлинику. Не хотелось записываться на прием к врачу-кардиологу или психотерапевту, не хотелось пригвоздить себя, как Христос, к больничному листу, ведь представляющая интерес деятельность человеческого организма простирается далеко за пределы больнич-

ной койки и постельного режима, выходит за рамки истории болезни и справок о нетрудоспособности.

К тому же в потайном течении болезни, в ее закамуфлированном потоке содержались все предпосылки к его, Владислава, будущему, ключи к его личности, к его жизни, которая оказывалась следствием этого непрерывно болезненного состояния, унаследованного от родителей, от предков-обезьян.

А может, он просто хотел так думать.

По итогу Владислава не интересовало, действительно ли он болен и возможно ли вылечить?

Нет, подобное вмешательство только сделает хуже ему.

Ведь начни он пытаться излечить себя вместо того, чтобы болезнь переживать непосредственно, висцеральным восприятием, с вовлечением всех своих внутренностей и ядер, изживи он ее, то намеренно лишил бы себя того исключительного опыта, которым болезнь окрашивает его бесцветные часы ожидания смерти.

Он вырвал бы сам корень своего пустого и беспричинного бытия, мотивированного в последние дни лишь ожиданием того, когда обнаружится его латентная болезнь и случится ли какая-то перемена в его мироощущении, его жизни.

«Ох... Дыши глубже, Владислав, дыши глубже...» – ум постепенно прояснился, в законсервированных легких приятно горел прохладный воздух набережной, и Владислав, пошатываясь, пошел мимо бакланов и сизо-серых голубей, рассевшихся по перилам. На скамейках, употребляя внутривен-

но наркотик термина из газет-шприцев, сидели незнакомцы. В газетах писалось, что температура воздуха в России поравнялась с температурой тела постсоветского человека, и пролитый совместными усилиями трудовой пот перестал быть главной семейной ценностью. Время шло. Только куда, пока неизвестно.

В конце бульвара, на углу дома, Владислав заметил небольшую группу муниципальных рабочих.

Они, будто умышленно расположившиеся там в неодинаковых позах, имитировали какую-то деятельность: кто курил, представляя на месте сигареты проститутку, кто выгуливал, как блохастую дворнягу, свой взгляд в неминуемом небе, облокотившись о перила, кто испражнялся по-маленькому в тени, обеспеченной кустом сирени, а кто-то уже приклонял сквозистую лестницу к стене дома, пока другой, с инструментами в наплечной сумке, начал по ней взбираться.

Взбираться туда, вверх, к черно-белой мемориальной доске, в граните которой было обессмерчено выцарапанное лицо народного героя Богдана Роландовича Сухощанского.

В его внешности, переданной искусно по сохранившимся у семьи фотографиям, историк-биографист мог бы наблюдать ретроспективное несоответствие, проявившееся из-за того, что свет солнца годами отражался от металлической ограды.

Так что у Сухощанского под идеальным, римским носом и над тонкой ниткой сурово стиснутых губ проступил фик-

тивный нагар, накладной погон прямоугольных усов, которые он при жизни никогда не носил (если верить той же биографической справке).

И Владиславу, наблюдавшему за происходящим, в эту минуту отчаянно хотелось верить, что памятный портрет народного кумира-коммуниста снимают с намерением в более подходящих условиях устранить это нелепое внешнее несоответствие и вернуть благородному Сухощанскому, отравившему посмертные усы, его привычное, прижизненное обличье.

«Курева, что ли, купить?» – подумал Владислав, когда ему полегчало.

Родственница не любила, когда он курил в квартире, а еще больше не любила, когда оставлял все окна открытыми нараспашку, чтобы выветрить запах дыма, но в этот раз, несмотря на сопутствующие трудности, Владислав не удержался. Выудив из кармана брюк мелочь, он подступился к киоску, в окошке которого мелькнуло улыбочивое девичье личико.

«Здрасьте, вам чего?» – мелодично, весело спросила она.

Засмотревшийся покупатель, полуоткрыв рот, глядел на витрины, прищурившись. Эти опечаленные вещи, выпачканные клеймом товара, никелированным ценником. Владиславу было грустно смотреть на них, грустно было даже отсчитывать обезумевшие купюры и мелочь, похожую на захвачанные лица, что струятся по мелководью ежедневной людской

потребности, по безрыбным рекам безработных, немых, болезнетворных рук, спрессованных в стену и разносящих повсюду заразу девяностых, остросоциальные фобии, чесоточную экзему психологии и антикоммунистический понос.

«Да... Курева... Какого-нибудь. самого дешевого», – пробормотал Владислав, выкладывая звенящую мелочь на блюдце.

«Такие подойдут? – спросила девушка, показав ему серую пачку. – Самые дешевые».

«Да, сгодится», – Владислав взял пачку.

«Эй, мужчина, – окликнула его продавщица, сгребя мелочь, – а вам лотерейный билетик, часом, не нужен? Может, купите? На счастье... Я вам даже скидку сделаю».

«На счастье? На почасовое счастье! Будто оно будет когда-то в этой стране... – усмехнулся Владислав. – Ну давайте два возьму. Что уж там... Будет, из чего самолетики делать».

«Вот это вы молодец, хотя и пессимистичный, спасибо вам! А самолетики лучше делайте из другой бумаги, туалетной, например, она же теперь не в дефиците, а билетики оставьте, вдруг выиграте!»

«Будь они выигрышными, – полушутя ответил Владислав, – вы их бы не продавали».

«Эй?! Чего это?! – обиделась девушка. – Думаете, я обманщица какая-то?!»

Владислав растерялся.

«Вы где-то тут живете? Рядом?» – вдруг спросила моло-

денькая продавщица.

«Э... Да».

«Вот и хорошо. Не удивляйтесь, я просто спрашиваю, чтобы вас запомнить и скидок больше никаких не делать. Вот так вот!»

Владислав смиренно кивнул, соглашаясь и, взяв билеты, направился к подъезду. Мимо Владислава пробежал мальчишка с репейником в волосах, а следом за ним еще несколько с рогатками. Погода идеально подходила для игр. То пасмурная, то светлеющая надеждой. Луч солнца пронзил маслянистое небо, чириканьем ожил притворно-неживой бархат травы, тени тополей, как сардельки в битумном соусе, утопали в растаявшей от жары асфальтовой перине.

«Эй, ты, парень! – Владислав едва-едва успел прогулочным шагом подойти к дверям подъезда, как услышал грубоватый женский голос. Оказалось, обращались к нему. – Стой!»

Владислав оглянулся. К нему торопливым шагом подошла женщина, вытащившая из сумки какой-то плакат и сунувшая ему в руки, после чего, даже не объяснившись, отправилась к следующему подъезду, агитируя тамошнюю молодежь, шелкавшую семечки на скамейке.

В руках Владислава оказался вовсе не плакат, а черная, как смерть, брошюрка, пестревшая красно-белыми призывами к необходимости профилактических предприятий, о методах контрацепции и лечения, а также сообщающая об уве-



личивающихся рисках незащищенного секса.

*«Берегись, молодой!*

*Рядом бродит СПИД с косой!*

*Поддержи нашу инициативу –*

*Пользуйся контрацептивом!»*

В первый момент он почувствовал, будто на него смотрят с нескрываемым осуждением несуществующие свидетели, и по его оплеванному лицу проехался горящий самосвал общенародного стыда. Казалось, каждый прохожий смотрел на Владислава как на будущего педофила, наркомана или жертву родительского недосмотра, новое русское дитя, переносчик антисоциальной оспы и бандитизма. Однако стыд за самого себя – внушаемый ему с раннего детства просто за то, что он существует – и свое поколение очень быстро прошел.

«Что?! Что это за... Гадость! Ох... Мерзость! – Владислав ощутил страшное негодование, скомкал эту брошюрку и вышвырнул в урну, стоявшую рядом со скамейкой. – Мне эта гнусь на кой?! Сует еще!»

Сплюнув, проклиная улицу, проклиная город, проклиная саму сущность растленной эпохи, Владислав распахнул дверь в подъезд, который его проглотил.

Близился вечер.

Стало даже чуточку прохладно от стыда, равного которому Владислав никогда не чувствовал за самого себя, и какой сейчас чувствовал за свой народ, за все это полоумное, свихнувшееся предприятие, творившееся на родной земле – ведь

то, что в перспективе планировалось завершиться возмещением нанесенного ущерба и одухотворением народа, переросло в нечто стихийное и совершенно никем не контролируемое, в стремление к самоудовлетворению, и чем выше была скорость его непрерывного движения наружу из обнажившейся человеческой души (оказавшейся не такой уж приглядной, какой ее хотелось полагать), тем явственнее там обрисовывалась выпуклость морды ощерившегося зверя, саблезубые очертания первобытнообщинного строя. Теперь все это просто разрекламированные руины, приукрашенные архитектурно палатки современного палеолита, где процветает утомленный, потрепанный ветром тщетной умственной деятельности паллиум головного мозга.

И неожиданно Владислав увидел под ним, под перевивающимися в оргии извилинами, надвигающуюся на него атавистическую пещеру будущего, где властвует оскал и гремит сладострастное эхо роженического вопля, возвращение к фаллической культуре и обожествлению детородного органа.

Мир, казалось, сделав круг в никуда, возвращался к тому, с чего начинал.

Поэтому, как первобытный человек двадцатого века, планов на ближайшее будущее Владислав не строил, никаких долгоиграющих планов не имел, намерений забеременеть не вынашивал и давным-давно перестал понимать, зачем родился, где его цель и почему она до сих пор ему не встрети-

лась.

Но дело тут было даже в просроченных глазах Владислава, которыми он с присущим ему тупоумным пессимизмом смотрел на пропитый, разворованный и мир, перевернутый с ног на голову, как свинья-копилка.

Казалось, в самом пространстве был сосредоточен и скрыт всепоглощающий дефект, из-за которого надуманное варварское бытие стремительно истощалось, повсюду разнося вонь однообразия и бесперспективных повторов, разыгранных в никому не нужных комбинациях.

«Надо отвлечься... Сыграть бы в шахматы с отцом... – подумал он, не зная, что неоконченная партия до сих пор продолжается, дожидаясь его сознательного, ответственного хода. – Меня будто бы лихорадит...»

Ветер залетал в комнату через приоткрытое окно, куда Владислав высунулся покурить.

«Владислав Витальевич! – совершенно неожиданно раздался из соседней комнаты голос родственницы, и репрессированный квартирант, как пораженный молнией, застыл. – Если хотите меня простудить, то лучше купите мне путевку в Швейцарию! А насчет курения в моей квартире я вас предупреждала!»

Пробормотав нечто невнятное, Владислав притворил окно, жуя безразличными губами наполовину истлевшую палочку, чей огонек вдруг вспыхнул, отраженный в стекле, и сразу же обнаружилась фаталистическая принадлежность,

неотделимость Владислава от этого пустотелого пространства. Изначальность неотделимости.

Он был там всегда, вынесенный за окно над безлюдной улицей, слабоосвещенный фонарями, бесплотный и обескровленный, просвечивающий, лишь едва уловимый блеск ресниц, белое слезящееся вещество слез и искры, расцветающие в эбонитовой дымке стекла, и мерещилось, что сквозь него, в нем сыплется махрово-лучистый снег, но то были только капельки дождя, а вместо изгвазданного, лишившегося родины сердца барахлил фонарь.

Хотелось поменяться местами со своим отражением, потребовать у него вернуть его законную бесплотность, безличность, навязанную исчезновенность, но вместо этого Владислав хрипло кашлянул, открыл форточку и, как кошка в гобелен, вцепился когтями ноздрей в дым зажмуренной сигареты.

«Эх», – тяжело, обреченно вздохнул он.

Потом, устроившись по горизонтали, как длинное и труднопроизносимое слово, на неразгаданном кроссворде диван-кровати, Владислав нашарил на тумбочке отцовские очки, усадил на переносицу и, выгнувшись, чтобы дотянуться, взял свою школьную тетрадь с четверостишьями.

Несомненно, они должны были быть ужасными.

*«У папы есть трудолюбие,*

*У мамы дырка в колготке,*

*А я – как яйцо на сковороде,*

*Хочу обратно в свою скорлупку»*

Но Владислав даже не мог до них добраться, увязнув в дебрях неразборчивого почерка, где, как в паутине, висел худосочный, рахитичный призрак болезненного ребенка-аутиста, которым он был, которым он остался...

«Кривизна прямой линии равняется нулю в любой точке, это понятно?» – однажды спросила его Людмила Викторовна.

Ему было понятно.

Понятно то, что в каждой вещи заложен математический потенциал.

И это становится очевидным, когда вещь переламывается.

Он хорошо помнил, как стыдилась мать проблем, особенно испытываемых им на уроках правописания. Почерк его был ужасным, отвратительным, а мелкая моторика оставляла желать лучшего долгие годы, после которых он уже не хотел брать в руки ничего, что оставляет хоть какой-то след на бумаге и в душе, истерзанной отравляющим чувством вины за собственную неполноценность.

На протяжении нескольких лет учебы Людмила с пристальным вниманием относилась к тому, как он делает домашнюю работу, бывало, по полдню заставляя его переписывать, выводить с патологической тщательностью каждую букву, каждую цифру, каждую линию – так что он пилотировал карандашом, гусеницами-линейкой танка ехал по белому листу, оставляя кровавые вмятины, прокладывая пурпур-

ную колючую проволоку полей, за периметр которых нельзя заходить, ибо там враг, там вероятность, обрыв и крайность, и, проводя ручкой со злым, сердитым нажимом, казалось, он поджигает, распалает эту проклятую линию, желая, чтобы горел огонь, разделяя два мира надуманных допустимостей.

Людмила всегда была рядом с Владиславом, дыша ему в ухо, с неусыпностью надзирателя наблюдая за каждым его движением, предчувствуя каждую ошибку, которую он совершит и которую она же и провоцировала, пока одним глазом смотрела ему в тетрадь, как в душу с вырванными листами с оценкой неуд, а другим глазом – на свою безупречную вышивку спицами, пляшущими в ее руках.

Яркий свет неожиданно врезался ему в глаза, когда она поворачивала лампу.

«Следи, чтобы было побольше света, а то зрение еще хуже станет... – и когда свет проливался на исписанную страницу, Владислав непроизвольно заслонял слова ладонью, чтобы мать не увидела ошибку, если он ее допустил. – Убери-ка ладошку, дай посмотрю... Ну... Вроде бы помарок нет, ты только давай пиши покрупнее, ладно? А то потом сам ничего не разберешь, когда надо будет в чистовик переписывать».

Время шло. Уже полтора часа он подготавливал черновик в отдельной тетради.

«И давай постарательнее, Владичек. Пусть это и не чистовой вариант, но это тебе дополнительная тренировка. Разрабатывай кисть и пальцы, у тебя впереди еще годы учебы и

постоянно придется записывать. К тому же если будешь карябать как попало, с ошибкой перепишешь и придется переделывать...»

От одной мысли об этом у Владислава падало настроение в район будущей импотенции.

Случалось, что Людмила вырывала страницы из тетради из-за незначительной помарки, заставляя сына переписывать заново то, что уже было доведено почти до безупречности, а порой и сам Владислав брал новую тетрадку, если в старой еще не выставили оценок, и переписывал ее с нуля тайком, лишь бы мать не увидела. С годами это вошло в привычку. Стало нормой, как быть изгоем общества, которое требовало подчинения.

Переписывая с черновика, Владислав вносил все в рабочую тетрадь карандашом, после чего обводил написанное ручкой, прикладывая к каждой строке линейку, которую иногда пальцем придерживала мать.

«Дай я прижму, а то виляет как хвост собачий. Когда тебя в армию заберут, так же будешь по мишеням стрелять? Вкривь и вкось...»

«Сам мишенью встану!» – бурчал Владислав.

«Давай будем посерьезнее относиться к работе, хорошо? Почерк – очень важный аспект. Становление почерка отражает и становление человека. Каков почерк, таков и человек. Это все знают. Поэтому старайся писать красиво, а не как курица лапой. Это важно...»

Спустя несколько часов труда Владислав мог со спокойной душой убрать тетрадку в портфель, если, конечно, Людмила не стопорила его, когда он уже начинал тянуть застежку.

«Быстро ты! – говорила она и многозначительно приподнимала бровь. – Дай-ка я погляжу, что ты там наворотил...»

И восьмилетний Говорикин, опуская подбородок и скрипя зубами, вручал ей свою работу, а сам шел на кухню собирать пенал, но вместо этого потрошил его, как какую-нибудь рыбу, с бряцаньем вываливания разноцветные карандаши, ластики, точилку с опилками, которые осыпались как обломки самолета из бесформенного облака на застежке-молнии.

«Ненавижу! – думал он. – Ненавижу! Убью... Убью! На... На! Умри! Урод!»

Нахмуренная, Людмила шла за Владиславом на кухню, глазами пробегаясь по беззащитным чернильно-черным буквам, выгнанным из общежития пишущей ручки на белоснежный мороз листа и, проверив тщательно, Людмила либо с улыбкой одобрения кивала, либо, что случалось почти всегда, она вдруг расстреливала Владислава своими заряженными девятимиллиметровыми глазами калибра кобры, вытащенной из кобуры.

«Ну ма-ам, что-о-о?!» – простанывал измученный Владислав.

«Догадайся!» – двухметровым пальцем Людмила указывала на померещившуюся ей в этом нацистском рукописном



тексте помарку еврейского, немецкого или еще какого-либо неугодного происхождения, что-то такое инородное, ненавистное, нежелательное, чужое, что нужно было срочным образом выкорчевать, изжить со свету!

«Это, Владислав, – поднося тетрадку чуть ли не к его носу, говорила она. – Это, по-твоему, что?! Присмотрись повнимательнее... Какую грязь ты оставил!»

«Оставь уже парня в покое! – откуда-то доносился голос Виталия Юрьевича. – Ты же на нем как на велосипеде едешь по грибы! Всю душу уже из Влада вымотала...»

«А ну-ка цыц там! Начальник нашелся! С тобой Владик двоечником бы рос, недоучкой, тебе же плевать совершенно на него...» – на кухонной раковине, под мыльницей, Людмила прятала маленькое металлическое лезвие, замысловатый блестящий прямоугольник бритвы, чьим краешком аккуратно соскабливала, сцарапывала помарку.

И, прося у истрадавшегося Владислава ручку, своим витиеватым почерком оперировала искалеченное слово, превращая домашнюю работу в нечто безукоризненное, совершенное, чему Владислав никогда не смог бы соответствовать даже при всем рачении.

## 6

Квартира присвоила своего владельца, отказываясь признавать, что пройденный километр важнее длины ноги, торчащей из-под задравшегося одеяла, под которым полупроснувшийся Владислав оформлялся телесно, обрастая плотью, впитывая выжатую мякоть.

Едва волоча ноги, он сел на разобранной диван-кровати, оглядываясь. В углу стояли табурет и вывихнутая гладильная доска, сообщая напоминая очертания вражеского авианосца, своенравная трикотажная рубашка с трудновыводимым пятном пота была вздернута, как белый флаг, на створке запылившегося шкафа, на полу можно было наблюдать извечную и непримиримую вражду левого и правого потерянного носка – на выделяющемся левом носке прорыто было кропотливо отверстие для червивого большого пальца.

Пиджак, свесив пустые рукава, как перед незапланированным расстрелом, позаимствовал временно форму у чуть изогнутой спинки стула, но все-таки, для полноты жизни, нуждался в утраченных объемах плоти, принадлежавшей Владиславу.

Качественные, планомерного покроя импортные брюки с каким-то удивленным видом (о чем говорило кольцеобразное соединение штанин) наполовину простирались с диван-кровати на паркетный пол.

Это было то, из чего состоял Владислав и, хуже всего, что все эти разрозненные, разбросанные вещи, из которых он себя каждое утро собирал, которые он к себе для полноты прилаживал, выглядели куда представительнее, куда аккуратнее и чаще достаивались похвалы незнакомцев («Хороший такой пиджачок, где брал?»), нежели прячущаяся под ними черепашья личность.

Гудели автомобильные клаксоны. В соседних домах окна были нараспашку, но едва заметная сетка от проникновения комаров не позволяла достичь беспробудного слияния с окружающей средой человеку, не обкусанному этими вице-президентами среди кровососущих.

У Владислава, между делом, имелась целая теория о том, что пространство передается воздушно-капельным путем, половым контактом, через генитальный герпес или расчесанные укусы комаров, разносящих не само пространство, но какой-нибудь искажающий восприятие недуг, инфекцию, неуловимый лейтмотив ностальгических переживаний, наделяющее вещи призрачным ореолом смутной узнаваемости.

Случалось, что Владислав воображал, как множество комаров через поры высосет всю его кровь до капли и разнесет семя его вымышленной болезни по всему миру.

Когда-нибудь он еще будет человеком-одуванчиком, человеком-комаром, пассажиром беспилотного комариного экспресса, полнокровного брюшка, а пока что...

«Ну что ж, пора собираться. Работа ждать не будет, – с этими словами Владислав поднимался и направлялся в ванную комнату. – Ну ничего себе как оно разрослось со дня моего приезда... Уже похоже на ботфорту!» – думал он, глядя на отраженный в зеркале пятнистый потолок, на симптоматическое пятно духовной плесени, расплзающееся над его лысеющей головой. В причудливых, гипнотически меняющихся плесневых арабесках норовило проступить чье-то лицо, вот ухо, вот вывернутая верхняя губа, хрящ, рифы скул, brutальные надбровные дуги.

Но все слишком расплывчато, словно это не человеческое лицо лезло из неведомого пространства, но безрадостный запах такого лица, запах застойной депрессии и мыслей о самоубийстве просачивается из пристающих к Владиславу стен, из потолка, закапанного из пипетки ему в нос, в горло, в глаза.

Стараясь не обращать внимания, он постепенно погружался в ежедневную рутину – выбривал щеки, произведя одно внушительное, всеохватно-круговое движение лезвием по отутюженному овалу бесхитростного лица, выскребал шею по фарватеру кадыка, формально выщипал лишние волоски, расческой ровнял военно-морские виски, ножничками наловчился выстригать скрученные нити будущих усов из раздутых ноздрей.

Все в точности так, как делал его отец, пока, будучи еще мальчишкой, Владислав наблюдал за его утренними проце-

дурами. А сейчас он и вовсе чувствовал некоторое удовлетворение от того, что не забыл взять эти привычки на вооружение в нынешнюю жизнь.

Ему казалось, эти процедуры сделают его чуточку более законченным, чем он всегда был.

Ох уже эти мелочные свойства и привычки, приближающие долгожданную полноту жизни, которая, однако, вопреки всем обещаниям и заверениям, никогда так и не наступала.

Поэтому Владислав всегда ощущал себя чуточку мертвым. Но это участь живого человека.

Он возвращался к себе в комнату, где объединенными усилиями руки и утюга отвоевывал у складок помявшуюся рубашку, а когда война за ничейную территорию окончилась, Владислав провел парад после победы над общим врагом – ведь и утюг, в конце концов, имеет право побыть несколько секунд человеческой рукой, отпраздновать эволюционный триумф локтевого сгиба на собственной улице выглаженного белья. Отец мог бы им гордиться.

«Красота...» – подытожил Владислав, одеваясь.

Даже несмотря на расстояние, разделяющее их, отец с сыном теперь стали нечаянно тождественны. Сами о том не подозревая, с утра до вечера, просыпаясь и отходя ко сну, они совершали симметричные движения, оба специфично помещивали остывающий кофе, начитывали по памяти строки из поэзии, думали кто о погибшей матери, кто о погибшей же-

не, думали о жизни, о смерти...

И вот, глядя на мир из своего экзистенциального аквариума, сквозь быстро запотевающие стеклышки отцовских очков, Владислав в первые недели добивался совпадения, радовался обманчивому, неожиданному сходству несхожих вещей и эпох...

Правда, стоило ему прийти на работу, как тут же наступало разногласие, усугублялся внутренний конфликт с самим собой. И чем больше Владислав работал, тем поганее себя чувствовал.

Не различая утра, дня, вечера, сторбленный, он сидел на стуле и корректировал статьи общественно-политическая газетенки, которая, как выяснилось, издавалась с целью опорочить советскую систему.

Когда он начал понимать, что происходит и на что он подписался, то сперва даже посмеивался.

«Ну да, перестраивайте-перестраивайте, поглядим...»

Но время шло, и в мыслях его, пронизанных туманно-влажным трепетом нервнобольных лучей, шла не только работа – клацали рычажки, щелкали затворы, натужно скрипели валы и раскачивался при каждом усердном нажатии на клавишу печатной машинки стол, – но все это на поверхности, а внутри шла борьба с самим собой, подавленная изжога и текущий по позвоночнику холодный пот.

В скором времени начались активные разговоры, собственно, о переименовании Ленинграда, чтобы город как бы

перестал быть тенью небезызвестного мавзолея и небезызвестного вождя. Перестал быть пронумерованной биркой на большом пальце консервированного революционера.

«Эй, чеховский человек в футляре, ты будешь голосовать?» – спросил какой-то молодой парень, видимо, работавший этажом выше и редко с гражданином Говорикиным пересекавшийся.

«Голосовать? Я?! Нет, я никогда не голосовал... Это как-то не мое. Тут нужна активная позиция, – лениво улыбаясь, отзывался незнакомцу Владислав и, сложив календарный лист вчетверо, сунул его под ножку стола, проверяя, не будет ли раскачиваться. – А за что голосовать-то?»

«Ну как это... – моргнув, с недоуменным видом собеседник поскреб затылок. – За переименование Ленинграда, конечно!»

«Что?! Будут переименовывать? – Владислав пощелкал языком. – Экие дела...»

«Ага. Голосование идет общегородское уже вторую неделю. Ты что, человек, с луны свалился?!»

Владислав открыл рот и неожиданно для себя рассмеялся.

«Переименование... Ленинграда... Да-а, вспомнил. Важное дело! Ведь от изменения названий люди сразу станут лучше, человечнее... – протянул он то ли задумчиво, то ли безразлично. – А во что будут переименовывать?»

«Да пока неизвестно, – пожал плечами молодой человек. – Главное сам факт, разве нет?».

«Факт? Да... Факты это главное. Обязательно главное, – без какого-либо энтузиазма пробормотал Владислав, поворачиваясь к печатной машинке. – А всех нас, получается, тоже переименоуют?»

«Нас? Это кого?»

«Ленинградцев», – был короткий ответ.

«Э-э... Зачем? Насильно, что ли? – рассмеялся незнакомец. – Зачем нас переименовывать?! Мы и сами переименуемся!»

Владислав только махнул рукой, мол, не мешайте, будьте любезны, делать работу.

«Правильно о тебе говорят... Что ты горациевский хвалитель прошедших времен!» – буркнул молодой человек и был таков.

Владислав, извлекая сигарету, подошел к прямоугольному окошку под потолком, откуда стали доноситься нервирующие пронзительно-пищащие звуки предупредительных сигналов дорожного транспорта, который, по-видимому, периодически давал задний ход, прокатываясь по переулку и скверу через дорогу, принаравливаясь к его тропинкам, которые обрызгивал металлической спринклерной водой.

Владиславу часто приходилось слышать эти звуки не только здесь, на работе, но и посреди ночи в душной квартире с открытыми окнами – в последнее время мир стал слишком шумным, усердно имитируя деятельность и маскируя отсутствием реальных перемен укладкой асфальта и проведением



однотипных мероприятий.

«Перестройка», – хмыкнул Владислав, захлопнув окошко.

Шли недели редактирования читательских писем с воспоминаниями и газетных статей, проливавших свет долгожданного выздоровления на постыдно-темное пятно кровавой советской эпохи, от прочтения которых бросало то в жар негодования, то в холод нескрываемого страха.

Да что там, подлинного ужаса!

Владислав для себя, читая, ежедневно открывал новые удивительные вещи.

Он узнал, например, что родился, воспитывался и жил в обезличенной, обесчеловеченной стране, угнетенной и высосанной политическими экстремистами, убийцами и кровопийцами, где обездоленный и порабощенный народ, лишь количественно представленный в виде человеко-часов рабочего времени, среднестатистических и машинально действующих единиц, был раздавлен правительственным террором и загипнотизирован своей же колоритной пропагандистской гадостью.

Когда Владислав читал подобные словоизлияния, его охватывали паралитический шок и ужас.

Неужто он происходил из столь чудовищного мира и даже не замечал?!

«Неужели так и было?! – оглядываясь, не услышал ли кто, Владислав кипел негодованием, источник которого даже не понимал. – Преступник-Сталин... Да, слышали такое. Ре-

прессировали в Сибирь кубометры человеческого тепла в надежде на повышение там суточной температуры, интересный метод потепления. Читали-читали... А можно и меня куда-нибудь репрессировать?! Во мне все равно нет необходимости. Сталинщина... Дьявол-Ленин... Царборец-революционер... Перестройка... Мда, ну и как, удачно перестроились?! Что-то не видать воспрянувший духовно народ, вернувший чувство собственного достоинства и вздохнувший полно раскованной грудью, раскрепостившийся от коммунистического ига... Где он, обещанный народ, вернувший себе украденное у него заслуженное рыло, высморканное в носовой платок?! Где он?! Я его не вижу! Не вижу... Куда нам свобода...»

А газеты тем временем продолжали твердить о запланированных переменах, о светлом будущем без вождизма, без сталинщины, без репрессий и бессмысленного каторжного труда. Запланирован был подъем опозорившейся страны на домкрате демократии к заснеженным вершинам среди лидирующих сверхдержав.

Более того, теперь главную роль в жизни человека будет играть, разумеется, его осведомленность.

Во внутреннем валовом пространстве возрастет многократно доля медийных услуг. Не будет отныне информационной голодовки. Опомнившийся от коммунистического кошмара, в котором десятилетиями прозябал, постсоветский пещерный человек более не будет питаться по талонам,

гнить в коммунальной нищете, стоять в очередях, чтобы в последний момент упустить краюху плесневого хлеба, не будет больше вылизывать замороженное, мясистое нутро холодильника, как изголодавшийся зверь вылизывает свою влагосодержащую язву.

Нет, теперь всем был гарантирован выбор и свобода воли. Возможность не работать, не быть трудящимся, чей труд высокоценен, а профессионализм – обязателен, но возможность воровать, спиваться и деградировать.

Зато по своей воле!

Уже запланировано возвращение к промышленной свободе и к настоящей свободе матерного слова, запланирован рывок к разгулу воли и самовыражения, то есть к повадке скалиться и демонстративно присаживаться на корточки, на виду у всех испражняться и при этом от прилюдного наслаждения изнурительно корчиться и содрогаться – от кончика задранного хвоста до жирной капли скисшего пота, свисающей с высморканного носа...

Все чаще во время работы Владиславу приходилось бороться с возрастающим ропотом энтропии, сопротивляться удушающей тошноте и проглатывать поднимающиеся из глубин его нутра ядовитые пузыри стыда и нарастающего чувства вины перед коммунистом-отцом.

Прежде, в период сталинщины, он наверняка имел бы дело с напрасно растроченной на него расстрельной пулей, которая покончила бы раз и навсегда с бессмыслицей его су-

существования, или, в крайнем случае, получил бы предпочтительную определенность и осязаемого врага в каменном лице однозначно-вещественной тюремной камеры, где его издевательски истязали бы, как пролетарского Прометея, пропившего красное знамя своей печени – но сейчас он был заключен в темницу духовную, неосязаемую, лишенную формы, распят на больничном листе бессмысленного мученичества, одиночества, ненужности и небытия.

Будущее казалось не просто чудовищным и лживым, казалось, что оно медленно пожирает, переваривает прошлое и испражняется им, подготавливая стройматериал для возведения новых ценностей и политсистем, и что сейчас Владислав, сидящий за рабочим столом, сидит не в кабинете, а в склизком желудке, по колено в бурлящей желудочной кислоте своего омерзительно-мизантропического настроения.

И хотелось просто унести отсюда ноги, совершить бесповоротное бегство куда угодно, да хоть в персонифицированную болезнь.

«Кто?! Кто это выдумывает?! Зачем?!» – протестовал Владислав. Его негнушейся, отказоустойчивой психике, фиксированной ригидными реакциями, было чуждо все это, чуждо совершенно.

Разница во времени, в пространстве, в подлинности существования, которую он почувствовал еще тогда, сойдя с поезда, сейчас лишь нарастала.

Он чувствовал себя слабосильным стариком, отказываю-

щимся верить в происходящее и льющим слезы, будто у него ничего не осталось за душой, кроме психотравмы, будто отняли последнее, и не оставалось ничего, кроме как психовать и поддаваться бесплодной истерике.

«Неужто люди добровольно отвергают оздоровленный паннацей коммунизма взгляд на безоблачный мир социалистических идеалов, всемирного равноправия, бессмертного общественного труда?! Не милы им, что ли, спортивные достижения, высокие производственные стандарты и мысль о том, что придется работать и блюсти культуру?! Пап, как же так! Что я тут делаю? Зачем я нужен?! Это бессмысленно, бесполезно! Я будто призрак... Да, я и есть призрак. Призрак-коммунист, мучимый страшной изжогой и тошнотой».

После смерти матери Владиславу хотелось верить, что он пойдет по стопам отца. Но ему уже перевалило за двадцать пять и бросалось в глаза лишь очевидное отставание – праздный, расточительно-медлительный, бездетный, запертый в своем непритязательном существовании человек-отход, довольствующийся незначительной скитальческой участью и экономящий, как последний скряга, доставшийся ему и всем гражданам нищенский паёк ленивого, пустопорожнего бытия.

Пустая чашка горбачевского чая в насмешку.

Разве он похож на отца?! Разве он соответствует ему?! Во-все нет. И это отставание множится день за днем, потому что мир вокруг неожиданно встал и пошел в противополож-

ном направлении, а Владислав остался стоять посередине, не зная, куда себя девать и к чему себя применить.

И эти расточительные размышления, бравшие Владислава в долг у самого себя, обратно его уже не выплачивали, а если и выплачивали, то без установленного процента. Так что он оставался в психическом убытке.

Ему вдруг захотелось позвонить отцу, узнать, что он чувствует, как справляется с этим безобразием, творящимся во-круг, о чем думает?

Впрочем, вряд ли о хорошем. Владиславу на ум неожиданно пришло воспоминание о том, как он, поднявшись еще мальчишкой около полуночи в туалет, увидел отца, стоявшего на табуретке и курящего в форточку на кухне.

Тот глядел в черно-черное обокраденное небо, где не было звезд – и столько усталости было в его позе, столько обреченности в его долгом вздохе безрадостного смирения, который, как ему должно быть казалось, остался никем не услышанным...

Но Владислав слышал.

И запомнил.

О чем отец тогда размышлял? Может, о звездах? Может, о смерти?

Сейчас это неважно. Важным казался сам образ, меланхолическая до дрожи сущность воспоминания, в которой родился ответ, искомый Владиславом. Ответ на вопрос о настоящем.

Будто наяву, он увидел Виталия Юрьевича, который у себя в квартире в Кексгольме с тоскливой улыбкой сейчас закроет газету, откашляется в немногословный кулак проветренной комнаты и, погасив перед сном свет, поцелует в щеку сестрицу покойной супруги, а затем постарается заснуть – но не с ней, а с мыслями об инфляции, о набегающих ваттах, о крушении социалистического лагеря, об упавшей рыночной стоимости труда, да и в целом о том, что все было зря – и Ленин, и Сталин, и красное знамя на рейхстаге.

Ночь будет бессонной. По темной плоскости потолка, как полуголая проститутка на костылях, изредка будет пробегать нетрудоспособная тень автомобильных фар, останущаяся незамеченной. Ведь отец продолжит размышлять о том, что скоро все знакомое ему окончательно развалится. Пусть это случится и не в подтверждение закона Токвиля, а скорее как закономерная обреченность человеческого замысла на провал.

И со своими грамотами и наградами (ветеран труда, герой прогресса, ревнитель равенства, муж социалистки-поэтессы) он никому будет не нужен во внезапно изменившемся мире.

Никому.

Ни перестроенному государству, ни коллективу, ни всеильному профсоюзу, который в своей обезличивающей анонимности теперь получит защиту от правовой расправы, от посягательств бесправного рабочего класса. Не будет нужен даже собственному сыну, странному и отрешенному от

всего, от самой жизни, бесперспективному Владиславу, на которого ни в чем нельзя положиться.



Каждый день возвращаясь домой после работы, Владислав замертво падал на кровать. Комната постепенно наполнялась серыми сумерками и пускалась в сатанинский пляс. В лабиринтах множественных неврозоз оживал выводок мифологических монстров, которые растягивали поменянный паркет как рыболовные сети, и Владислав неожиданно проваливался куда-то на дно своей решетчато-пустой беспросветной души, в отупляюще-затхлый, тревожно-темничный климат своего вымышленного недуга, где все бесформенное начинало принимать экспрессивную нечеловеческую форму.

Та истощающая война, происходившая в нетронутых сонаром сознания глубоководных впадинах бессознательного, вскоре начала подниматься на поверхность и проявляться в немыслимых, несуразных деформациях Владиславова тела. Оно стало лихорадочно скрученным и простуженно сопливающимся, и казалось ему продуктом порочного совокупления стыда с чувством вины.

Он обливался потом, умирал от жажды жизни и жары, ему снились кошмары, рожденные от тревожного расстройства и подорванного иммунитета. И когда ночами статичное психическое напряжение, в котором Владислав пребывал день за днем, хоть ненадолго спадало, наружу что-нибудь вылезало.

Под облезлой кожей его полопавшейся кожи начали

обнажаться двухголовые мышцы кукурузы. На пальцах ног жутко закровоточили огнеупорные мозоли. Взрывоопасные кости изо дня в день неумолимо ломила хандра. В концентрационных лагерях альвеол содержались кубометры военнопленных воздушных масс. Изо всех отверстий, для того не предназначенных, повылезал облысевший хлеб. Расплодившееся тело вспучивалось наглухо. Пшеничные колосья прорастали в чесоточной промежности, и Владислав обнаруживал свою дотоле скрытую принадлежность к семейству злаковых культур. Из рупора его пупка, доводя до безумной мигрени, ежечасно гремела антисоветская радиопропаганда. Обглоданные коленные чашечки, как спутники, были запущены в космос, а локти, как флаги, установлены на северном полюсе.

Серп языка и молот позвоночника, не сумев все-таки искоренить крест христианства, соорудили на его костяке коммунистическую власть.

И на кресте рабочей силы, воздвигнувшей Советский Союз, был распят измучившийся, умирающий Владислав.

Из последних сил горело красным пламенем в его измученной душе родонитовое зарево коммунистического мезозоя.

Все еще предпринимались Владиславом героические, подсознательные попытки по провозке потайных грузов с продовольствием по тончайшему льду эгоистических цепляний к заблокированному, оккупированному фашистами бло-

каждому Ленинграду ностальгирующего эго.

Как ужасно он себя чувствовал!

Но еще хуже становилось, когда он просыпался с мыслью о скоропостижном будущем.

Что ему ждать там?

Нечего...

В будущем его караулила лишь дыра бритоголовая тюрьмы могильной. В настоящем Владислав себя нигде не обнаруживал, даже шаря в темноте по простыне и одеялу в поисках затерявшейся пачки сигарет. В прошлом он постоянно утыкался соскучившимися губами в тоскливый тупик кормления толстокожей грудью, когда сам был всего-навсего безобидным сосательным рефлексом, в котором только-только формировалось стремление к тризне.

Он был бесполезным отцу-коммунисту и даже самому себе...

Об этом он думал в первую очередь по пробуждению, но только не сегодня.

«Что за ужас?! – промычал Владислав, уткнувшись расколотым, пульсирующим лицом в подушку. – Господи, как мне плохо. Что ж такое-то...»

В тапках, шаркая по паркету, он вышел в коридор и не сразу сообразил, где находится.

«Вла-а-ад?! Что у тебя с лицом?! – слышавшийся голос родственницы выдавал не тревогу за его здоровье, а скорее опасливое недоумение, брезгливость и мысль о заразности. –

Да у тебя полголовы опухло!»

Ее слова не на шутку перепугали Владислава. Он подошел к зеркалу в прихожей и...

«Что это?! – подняв руку, он прощупал вздущуюся половину лица. – У меня даже глаз заплыл. Я помню, что раньше у меня такое уже было... Когда в детстве ходил к стоматологу! А я еще думаю, откуда такая сильная боль... Все ж пульсирует. В голову отдает невероятно. Этого еще не хватало!»

Родственница, проявив неожиданное участие, подошла к телефону.

«У меня знакомый дантист есть. Очень хороший, – сняв трубку и крутя стрекочущий диск номеронабирателя, объяснила она. – Настоящий мастак. Он тебя примет. Я ему позвоню, скажу, что срочный случай. А ты пока иди, собирайся, чего встал».

Владислав, чья голова была сейчас как кокнутое яйцо, пошаркал в ванную комнату, где ополоснул тяжелобольное лицо и собрался хоть немного почистить тюремную камеру рта, где с недавних пор под усиленной охраной содержался язык, осужденный на пожизненное за пацифистские высказывания и антимилитаристический запах изо рта. Едва сумев раздвинуть скрученные судорогой челюсти, Владислав принялся осторожно орудовать щеткой и вздрагивать не столько от пронзающей боли, сколько от мыслей о предстоящем допросе свободомыслящего зуба.

«Пушкин так не чистил мушкет перед дуэлью, – подумал

Владислав, натужно оскалившись перед запотевшим зеркалом и оценив желтоватую белизну передних. – А стоило бы, если задуматься...»

Выйдя в коридор, он открыл несговорчивый гардероб, ища баночку с гуталином. После недолгих уговоров, гардероб уступил, и баночка выкатилась откуда-то с верхней полки прямо в ладони вздрогнувшего Владислава.

Однажды отец показал ему, как открывать такие банки.

«Ставишь ребром, – говорил Виталий Юрьевич, – и катаешь взад-вперед. Вот так вот. Только слегка надавливай. Главное не переусердствуй».

Нужно было срочно привести одежду – перепачканные туфли, мятую рубашку и потрепанное пальто – да и самого себя в божеский вид.

Сегодня ему идти к врачу, а завтра на работу, а он совершенно неподготовлен. Бродит по абстрактной квартире с полураздутой головой, думая о несущественных вещах, окутанный пульсирующей дымкой болезненной бесплотности.

За последние недели Владислав уже успел свыкнуться с тем, что просыпается поутру бестелесным, успел свыкнуться с этой психосенсорной аурой, создающей ощущение непреодолимого отсутствия и окончательной утраты своей идентичности, ощущение того, что он беспробудный призрак-коммунист, который даже среди самых примитивных явлений обладает наименьшей самостоятельностью и вещественностью...

Но вот неожиданно-негаданно проступило это жуткое, конкретное, налитое тяжестью, от чего хотелось мычать, изнывать и избавиться как можно скорее!

На протяжении зубодробительного часа Владислав лежал, как телескоп, вверх начищенными туфлями на процедурном кресле с парализованной пастью и невысказанно напряженными мышцами живота.

Стоматолог – низкорослый мужичок, такой же просвечивающий, как и Владислав, сорокалетний, душно наодеколованный, с тугоплавким черепом, свинцово-серыми глазами и какой-то лохматой, добродушной улыбкой – орудовал у него во рту бряцающими и свистящими инструментами, при этом неразборчиво напевая гимн советского союза и причмокивая.

«И красному, ням-ням-ням, знамени славной отчизны мы будем всегда, ням-ням-ням, беззаветно верны... Мда, молодой человек, нехорошо, нехорошо. Не заботитесь вы о своих коренных гражданах, бросаете на смерть против полчищ непрожеванной еды!»

Владислав зажмурился, когда с пронзительным визгом заскрежетало во рту.

«Вот эту мумию мы определенно эксгумируем... Откройте рот, шире. Шире, говорю! Вот так пойдет. Знаете, у моего хорошего знакомого поговорка была, – продолжал бормотать мужичок, не прерывая работы. – Он говорил, что тело человеческое создано только для обхаживания двух отверстий.

Догадайтесь, каких? Ну, думаю, это очевидно. Рта и ануса, кхм-кхм. Так что все остальное можно рассеять в воздухе, не потеряв общего смысла. Ну а то, что останется, рот и, извиняюсь за выражение, жопу, соединить между собой, связать бантиком и присобачить, как магнитик, на холодильник... Сейчас-сейчас... И вуаля!»

У Владислава от неожиданной боли потемнело в закатившихся глазах.

«Тихо-тихо, без лишних телодвижений! А то, знаете ли, бывает... Ух, сколько крови, беда... Шучу-шучу. Вы не переживайте, больше чем у вас есть все равно не выльется».

Когда боль отступила, Владислав приоткрыл глаза и увидел муху.

Жужжа, чертовка облетала осветительный прибор, как Гагарин планету, заарканивая ее в своеобразную петлю, которая, казалось, вырисовывается в воздухе с каждым виражом, превращаясь в кривую, одномерную восьмерку...

Она вырисовывалась снова и снова, и Владислав неожиданно осознал, куда его затягивает, и прежде, чем успел спастись, увидел руку Юрия Алексеевича Черешкина с огрызком крошащегося и плюющего мела.

Худошавый педагог выводил на классной доске эту сдвоенную петлю, говоря:

«Вот, Владислав, вот. Одним непрерывным движением! Попробуй еще раз. И на этот раз, пожалуйста, постарайся сделать правильно, а не как тебе хочется».

Владислав посмотрел на мелок в руке преподавателя. Он знал, что нарисовать восьмерку именно так – у него не получится.

«Бери, и делай, Влад. Подумай, пожалуйста, и о моем времени. Я хочу домой не меньше твоего, но пока мы не решим эту проблему, я тебя отсюда не выпущу, так что мелок в руки и вперед».

Владислав взял мелок и, высунув язык и стиснув зубы, пытался выписать восьмерку, но никак не мог повторить движение руки, произведенное легко и естественно Юрием Алексеевичем.

Потому поперхнувшись огрызком Владислав нарисовал один кружок, а поверх него – второй.

«Нет, – с подавленным раздражением в голосе произнес педагог. – Ты делаешь неправильно, Влад. Так не нужно делать! Ты пиши рукой, слышишь? Рукой, а не языком. Чего ты так рот напрягаешь? Давай, попробуй еще раз. У тебя получится. Давай-ка...»

Юрий Алексеевич взял руку-штурвал Владислава в свою руку и, пилотируя им, как самолетом, сделал требуемое движение.

«Вот! Ну вот же! – кашлянул он, удивляясь своему раздражению. – Вот, Влад! Проще и быть не может... Господи... Почему ты не можешь ее самостоятельно нарисовать?!»

«А мне удобнее так, как я делаю», – робко отозвался Владислав и опять нарисовал два кружка.



«Нет, дело не в удобстве, а в том, как надо делать и как не надо... Боже, еще никогда не встречал такого, чтобы кто-то не мог нарисовать восьмерку! Это какой-то феномен, Владислав... Ты у нас человек-феномен, оказывается, а нам феномены не нужны, понимаешь? Они трудновоспитуемы и вообще от них одни проблемы в обществе, так что если хочешь нормально в нем жить, тебе лучше учиться делать так, как правильно... И это касается всего, поверь, а то проблем не оберешься, тебе же хуже будет... – Юрий Алексеевич нетерпеливо покачал головой, придерживая сползающие очки. Взял из желоба губку, подошел к раковине, намочил, решительно отжал и всучил ее Владиславу. – Сотри с доски».

Владислав сделал, как велено, только до даты дотянуться не мог.

«Вот, Владислав! Вот оно! – с ликованием произнес Юрий Алексеевич. – Ведь можешь водить рукой, не отрывая ее от поверхности, правильно?! Бери мелок и рисуй эту злосчастную восьмерку, только представь, что у тебя в руке губка и ты моешь доску!»

Растерянный Владислав не совсем понял, что от него требуется. Он взял в руки мелок и, напуганный, не решался его употребить.

«В чем дело, Влад?!»

«Боюсь».

Юрий Алексеевич кашлянул.

«Не надо бояться, никто тебя ругать не будет. Просто на-

рисуи восьмерку, ладно?»

Владислав поставил мелок к доске...

«Та-ак... Хорошо... А теперь...»

Мелок сдвинулся со скрежетом.

«Смелее, Влад... Смелее...»

Рука, будто скованная судорогой, дернулась и вырисовала полуокружность, а потом пошла вниз...

«Опять нет, – страдальчески простонал Юрий Алексеевич. – Опять не то! Ты мне какого-то обезглавленного снеговика рисуешь, а я прошу восьмерку! Вот восьмерка, Влад, вот...»

Он взял другой мелок и нарисовал.

«Обведи мою восьмерку. Поставь свой мелок и обведи».

Владислав мотнул головой.

«Нет, не хочу... У меня не получится».

«Получится! Поверь в себя. Просто сделай».

Владислав положил мелок в желоб и, развернувшись, вернулся за парту. Благо, что в классе было пусто, как и во всей школе, не считая Людмилы Викторовны, ожидавшей за дверью на коридорной скамейке и, вероятно, подслушивавшей каждое слово.

В тот день Владислав еще пару часов просидел в классе, где они решили поэкспериментировать с тонкой моторикой. Владиславу предлагалось упражняться, вырезая начерченные им же фигуры. Но чем дольше он с Юрием Алексеевичем сидел в этом спертном, налитом солнечным светом, сле-

пяще-ярком помещении, постепенно наполнявшемся прозрачно-голубой дымкой, в которой слышалось цоканье ножиц и блестела картонная пыль, чем дольше Владислав вырезал, натерев кольцом ножиц мозоль на складке между большим и указательным пальцами, тем чаще взгляд худощавого преподавателя обращался к белому циферблату тикающих часов.

По его выжатым, как лимоны, бессодержательным глазам, в которых только благодаря поверхностному лоску кристально-чистых стеклышек очков играл намек на упущенную жизнь, по этим глазам, сперва отслеживавшим перемещения пишущей ручки, которой сам Юрий Алексеевич что-то раздраженно чиркал в проверяемых тетрадах для контрольных работ, по этим глазам, затем поскучневшим и начавшим блуждать от одного ориентировочного предмета к другому (шкаф, портрет Ленина, горшки с цветами на подоконнике), по этим чертовым глазам было видно, что Юрий Алексеевич не мог отказаться от многовековой убежденности в том, что дерево в окне растет с одним намерением. С намерением удовлетворять его скучающий взгляд неповторимыми формами и неопалимо-зеленым оттенком листвы.

И семилетний Владислав, скорчившись над отваливающимся картоном и цокая ножницами, видел его безразличие к нему, видел его незаинтересованность, видел его раздражение, и знал, что причиной всего этого было его несоответствие, его бесполезность.

Владислав посмотрел на часы, фокус его зрения нарушился, словно упала капля на разглаженную поверхность воды, но дремотно-медленная зыбь постепенно стала рассеиваться, и он смог сфокусироваться на циферблате, и все стрелки, совершив коллективное усилие, сместились на годы вперед, где Владислав, открыв рот, сидел в стоматологическом кресле...

Зато не нужно было идти в школу. Не нужно было рисовать восьмерку. Не нужно было экспериментировать с тонкой моторикой.

Все это в прошлом. В прошлом.

«Ну вот, готово», – сказал мужичок-стоматолог, улыбаясь ему.

По розовой, еще не просохшей, только-только покрашенной десне многоэтажного здания прошел пасмурный буксир полуденных теней, переполнивший бульвар пеной вращательного движения, которой Владислав прополоскал расковырянный рот и которую сквозь зубы сцедил в раковину-плевательницу периода перестройки, где все и исчезло, мысли, пропадающая жизнь, остались только бесполезность самому себе и оторванность от мира.

Владислав, совершенно потерявшийся в самом себе, словно анестезирующее средство по нерву просочилось в само его сердце, стоял у перил, засиженных и загаженных голубями, и невидящими глазами смотрел на ртутно-серую поверхность покачивающейся воды. В ней отражалось серебристое

неоплодотворенное небо.

Носком туфли он подталкивал маленькие камешки, шлепавшиеся в подрастающее поколение реки.

Из задумчивости его постепенно, как напуганного ребенка из безопасного места, вывел чирикающий девичий голос, декламировавший стихи и заставивший его сердце болезненно сжаться, всплакнуть в груди горькой, одинокой слезой.

Владислав повернул свою полураспухшую голову в сторону, откуда доносился голос. Девушка стояла одна в летнем пальто, походившем на сплошной коричневый, поношенный рукав с пуговицами, и в мягком небесно-голубом берете, из-под которого ниспадало комсомольское каре, обрамляющее приплюснутое лицо.

Она читала стихи, Владиславу незнакомые (а в свое время Людмила перечитала ему все стихи советско-русских поэтов), и, привлеченный ее звенящей, солдатской интонацией, туполобый, косолапый и задыхающийся от накатившего волнения, Владислав неторопливо направился к ней, придерживаясь за перила и испачкав рукав в свежем помете.

«Ух... – на лбу его проступили капли жирного пота, страх-душитель поселился в груди, а за ним робко пряталось застенчивое, задавленное, искалеченное намерение подойти к девушке, которую наверное звали Танечка или Оленька, и просто поздороваться с ней. – Что это со мной?!»

Облокотившись на перила, Владислав чуть ли не валился с ног от накатившего бессилия, словно сами воды матуш-

ки-реки, плещущиеся о гранитные берега, подмывали зыбкую основу его личности.

Он стоял, с обрызганными туфлями и брючинами, и с выпачканным голубиным пометом рукавом, недоумевая от происходящего и испугавшись того, что поднялось изнутри.

«Меня сейчас вырвет... – вдруг понял он, и действительно, его затошнило. – Неужели я настолько слабоволен, что даже просто поздороваться с незнакомкой для меня тяжелый, травмирующий стресс... Боже мой... Я слишком мал изнутри, как игольное ушко. Слишком мал...»

Он оглянулся, заметив, что какой-то прохожий с чемоданом, разгладив помятую купюру, опустил ее в стоящую у ног девушки стеклянную баночку с другими монетами и купюрами, а девушка с ним заговорила, и мужчина отвечал ей что-то.

Владислав похлопал себя по карманам в надежде найти какие-нибудь деньги. В кошельке оставалось немного и, вытащив достойную купюру, он дождался, когда девушка прекратит говорить с мужчиной, а затем подошел к ней, сжимаясь и разжимаясь внутри. Только теперь он заметил, что на стеклянной банке была наклейка.

*«На восстановление СССР!»*

Девушка, улыбаясь, прервала чтение стихов, с интересом наблюдая за молодым человеком с распухшей щекой.

«Можно я вам положу денежку? – проямлил он и полусушня добавил. – На благое дело, как говорится, не жалко...»

Улыбка мгновенно исчезла с ее лица, которое вдруг посерьезнело и даже, если Владислав ничего не перепутал, ожесточилось.

«Благое дело? Вы о чем?»

«У вас тут на баночке написано... На восстановление СССР», – проямлил Владислав.

«А это, по-вашему, благое дело?»

«Ну, должно быть, разве нет... – недоуменно проговорил он. – Иначе зачем собирать деньги?»

«А вы действительно думаете, что, отсыпав несчастные десять рублей в банку из-под огурцов, чего-нибудь добьетесь?»

«У меня больше нету... Так бы, может, и дал...»

«Речь не о том! – притопнула каблучком незнакомка. – Или вы совсем глупый?! Это же просто ирония! Никому СССР не нужен ни под каким соусом!»

«Ну почему никому... Мне нужен...»

«Да? А зачем?»

Владислав пожал плечами.

«У меня отец коммунист».

«Коммунизма – больше нет. Получается, что и коммунистов тоже. И возвращаться в коммунизм захочет только последний дурак».

«Почему? – кашлянул Владислав. – Разве Маяковский, например, был дураком?»

«А причем тут Маяковский?!» – у девушки округлились

глаза.

«Ну как же... Вы его поэзию читали?»

«Еще бы, я не читала, – усмехнулась девушка. – Конечно читала! Только до сих пор не пойму, каким боком он сюда влезает».

«Он был любимый поэт моей матери, – объяснил Владислав. – Она у меня тоже стихи писала. И у нее очень хорошо и красочно, живыми красками получалось. А еще она была социал-демократкой».

«Опять же, гражданин, это все никак не объясняет, зачем вы приплели Маяковского, – настаивала девушка. – Может, у вас там в голове все логично и последовательно, и по полочкам разложено, но мне содержимое ваших мозгов отсюда не видать».

«Как зачем? Потому что Маяковский выступал за коммунизм... За СССР, разве нет? То есть, по-вашему, он был дураком, если грезил о социалистическом будущем?»

«А вам откуда знать, о чем он грезил? К тому же это неподходящее слово. Он мог мечтать о чем-нибудь. Грезить – это желать несбыточного. Впрочем, вы правильно употребили слово. Все коммунисты грезили. Да и вообще, откуда вам знать, о чем думал Маяковский?»

«Как это, откуда? – удивился Владислав. – Но ведь он писал об этом в своих стихах, разве нет?! Писал в них о том, во что верил, о чем думал, чего хотел...»

«Откуда самому Маяковскому было знать, чего он хотел?»



Думаете, он знал? Думаете, ему дали возможность определяться? Конечно нет. Маяковский родился в крестьянской семье. Разве у него был выбор?! Вы можете знать его биографию, факты из его жизни, но вы никогда не узнаете его как человека, как личность, и никогда не сможете с точностью сказать, что им двигало... Что скрывалось за очевидным? Он болел сердцем за народ. За крестьян. И он никогда бы не одобрил того, во что в итоге превратился горячо обожаемый вами социализм. Да, он боролся, да, он выступал, да он агитировал, но однажды это должно было бы закончиться, понимаете? И что тогда? Думаете, Маяковский, как и все борцы за что-либо, остановились бы? Вы ошибаетесь. Их идеологии заменили им душевное устройство, и пока весь мир вокруг них не будет тютелька-в-тютельку соответствовать их ожиданиям и желаниям, они не успокоятся. А что для такого нужно? Гонения, переделывания всех под себя, избавление от того, что неудобно. Но неудобное – в людях. Разве ваши герои детства чем-то отличаются, в итоге, от тех, с кем боролись? Их методы, думаете, отличались?! И вернуться обратно в СССР жаждут только безвольные и напуганные, те, у кого не было ни своего мнения, ни своих идеалов, которые еще не заменила коммунистическая доктрина, и кто удобно поддакивал существующей власти, во всем с ней соглашаясь и чувствуя себя защищенным. Вы, видимо, из таких же балбесов, да? Или я ошибаюсь? Я не вижу, чтобы вы злились или бросались меня оскорблять. Значит, мои слова ничего

такого в вас и не задевают. Может, с вами еще не все потеряно. К тому же вы вообще уверены, товарищ, что читали все стихи Маяковского, а не только... разрешенные?»

«Вообще-то мне стихи мать читала в детстве. Разных советских поэтов. Хотела привить мне любовь...» – признался Владислав.

«Тем более! А любовь к чему? К стихам или... чему-то другому. Уберите из поэзии того же Маяковского коммунистическую риторiku, и что останется? – незнакомка вопросительно посмотрела на него. – Как думаете? Останется обливающееся кровью сердце человека... Сердце человека, чья борьба окончилась, а за ней ничего другого не осталось, потому что он слишком долго не вспоминал, кто он, с чем в душе родился. Не вспоминал именно своего сокровенного, потому что его место заняло это подложное, внешнее, и неважно, правым оно было на тот момент или радикальным. У него не было выбора в неравноправном обществе...»

«Ну так он поэтому и боролся! Потому и агитировал! Потому и писал анархистские стихи, разве нет?! – задумчиво нахмурился Владислав, – Он хотел, чтобы люди стали равными... Соответствовали друг другу. Разве не в этом весь смысл? Или я ошибаюсь?»

«Ошибаетесь, и очень серьезно ошибаетесь, – покачала головой девушка. – Вы путаете равенство с равноправием, товарищ».

Время шло.

Казалось, что Владислав начинал мириться с необходимо-вынужденной рутинной, выполнение которой оправдывал нуждой, потребностью в заработке и удовлетворении желудка. Более того, Владислав Витальевич Говорикин, в принципе, никому здесь был не нужен как личность, а значит – его убеждения обесценивались, его мнение приравнивалось болтовне дурдомовца, и душе становилось спокойнее при мысли, что он никому и ничего не должен, кроме послушания.

Его работодатели в первую очередь нуждались, как гласило объявление, в наборщике и корректоре, в заменимой функциональной единице, а не личности, и потому Владиславу ничего не оставалось, как вышвырнуть себя самого из своей головы и продолжать быть обезличенным наборщиком текста. Выполнять работу, которую мог выполнять любой.

Так что не оставалось больше провинившегося в чем-либо человека, терял значение паспорт с фамилией, именем-отчеством и датой рождения, терял значение резус-фактор, сумма зарплаты, плюс и минус, глагол и прилагательное, и адрес местожительства. Теряли значение все прочие наименования, относившиеся к Владиславу Витальевичу Говорикину и бывшие всего-навсего коллекционным набором пест-

рых магнитиков на холодильник, в морозильной камере которого человек пытается сохранить замороженное мясо своей нежизнеспособной, никому не нужной личности.

Все, казалось, было хорошо. Это работало...

Но вот, временами, все менялось: каждый раз, например, когда в кабинете (в крохотно-плачевной и прокуренной, размером с кулачок, камерке-архиве) неожиданно начинал верещать телефон, Владислав будто просыпался.

Он скукоживался, трясся и заболелвал всей душой, начиная обливаться испариной и трястись, опасаясь, что звонит Виталий Юрьевич!

Хочет поинтересоваться здоровьем, образованием, работой, настроением своего отосланного сына, а Владиславу придется что-то выдумывать, говорить: я добился уже того-то и того-то! Видишь?! Я не опростоволосился, я соответствую требованиям!

Уже нашел работу, уже женился, уже зачал, уже родил, уже воспитал, уже даже похоронил!

И мозги у него в такие минуты совершенно отшибало...

«Я могу просто не отвечать... – думал Владислав. – Нет, не могу, это ведь рабочий телефон... Нет, это не может быть отец, я ведь не оставлял рабочий номер. Или оставлял? Все так перемешалось... Ужасно!»

Но в этот раз звонил не отец, а пронзительно-визгливая родственница, которая ему в ухо пропердела что, когда он вечером вернется с работы, ему надо будет опустить ключи

в почтовый ящик Вероники Антоновны, потому что сейчас всем домом они собираются идти в бывшее здание исполком горсовета.

Там все вместе будут писать какую-то петицию с требованием переименовать их улицу, так как в газетах пишут, что Ганс Александрович Черницын (в чью честь названа их улица), в сороковых и пятидесятых годах был организатором массовых репрессий, руководил расстрелами, обрекал невинных на заключение, а теперь вся эта гнусь, слава Богу, выползла на свет!

И они не допустят, чтобы эта зловещая, кошмарная фигура отбрасывала свою тень на их улицу, на всю страну и ее святую историю!

Владислав повесил трубку, раздумывая о том, куда ему бежать и куда деваться, если когда-нибудь позвонит отец.

Интересно, как он поживает? Ведь он настоящий патриот и коммунист...

Должно быть, ему сейчас столь же плохо, как и самому Владиславу.

Но позвонить отцу он не решался. Что он ему скажет? Смесь обиды и стыда прожгла дыру в его воле, обноски которой висели на вешалке для одежды.

Вечером, положив ключи в почтовый ящик, как и было заповедано, Владислав вернулся домой в надежде отдохнуть, но там его уже поджидали: прямиком из только-только зажившей, затянувшейся щербинки, откуда ему наемдни уда-

лили зуб, побежала через коридор, по квартире, по потолку трещина телефонного звонка, отозвавшегося болью в нерве и неожиданно прервавшегося абортивным вмешательством родственницы.

«Кто это?» – с опаской уточнил у нее Владислав, думая, что это может звонить отец, выследивший его, узнавший об измене родине и готовый убить, изрезать, удушить.

«Откуда я знаю?! – раздраженно ответила Фемида Борисовна. – Женщина какая-то... Голос правда знакомый. Попросила тебя. Ничего не сказала. У гестаповцев и тех меньше секретов».

Неприятно-влажными, сырыми пальцами он принял из рук родственницы лишь формально-материальную трубку.

«Алло, – произнес Владислав натужно-хрипло, вкладывая в это слово першение нервозности, типичное для внепланового разговора. – Говорикин на проводе, говорите... Я слушаю, алло... Кто это?»

«Владик, это тетя Акулина», – прорвались слова.

И, отстраняя плечом прислушивающуюся родственницу («Не пыхтите мне в ухо, Фемида Борисовна, не стойте над душой»), сам пытался вслушиваться в глухие, мешкающие в трубке подступы теткиного голоса, который в конце концов коротко и ясно сообщил: Виталий Юрьевич умер.

Услышав это, Владислав опустил трубку на рычаги, минутку постоял, ощущая, как наполняется тяжестью его коченеющее тело, а затем бессильно опустился на колени.

В атрофированную мышцу сердца вцепилась клещами разводных челюстей свора собак по кличке инфаркт. Сердце Владислава боролось за каждый авиаудар и хлестко билось, как выпотрошенная рыба в отхаркнутом нечеловеческом легком. Кровь неистово пульсировала в затылке и лбе, распланированном согласно замыслу аллелей, наследственных признаков преждевременного облысения, лицо молодого человека стремительно покрывалось плесенью, и ноги перестали держать массу тела. Он трясся от бессилия, смертельно побледнел и бормотал, требуя скорую...

«Господи! Да что с тобой творится?! – даже родственница перепугалась, бросившись звонить по телефону. – С ума ты, что ли, сошел?! Кто это был?!»

Владислав тем временем опустился на линолеум, теплый и липкий.

«Всё... – проговорил он. – Всё... Конец мне. Умираю, вот чувствую, что умираю».

Неправдоподобные стены скатывались в рулоны, потолок, вертящийся над головой, как крышка, уже начал опускаться в глубины вспотевших ладоней Владислава, звезды сыпались

с небосвода и превращались в битую посуду, и голос родственницы звучал в пропасти между провалившихся ушей...

Через восемь минут приехала карета скорой помощи. Мускулистые жеребцы-медбратья, стучаясь оттопыренными локтями об ободранные рамы дверных проемов, вынесли полубессознательного-полубредящего Владислава.

«Папа, как же так?! Мы ведь... Этого не может быть. Не может! Просто не может...»

Диагностировав давно назревавший инфаркт, Владислава экстренно повезли в кардиологический диспансер. Без наркоза прооперировали: посредством ассенизационной пене-трации, очищающего семяизвержения в его зашлакованные, урбанизированные вены.

Выплюнутый мир закружился в приступе нескончаемой боли.

Проснулся Владислав полностью осушенный, насквозь пропотевший, замороженный, с потрескавшимися губами, с песчаным языком, с накрахмаленными деснами, под сухой скрип собственных челюстей.

Это был сон.

«Приснилось, Боже мой, приснилось. Все сон... Никто не умирал», – подытожил он с облегчением и растекся на чужой, упрощенной кровати.

Простыня сваялась и пропотела.

В первую минуту, раскинув руки, как Христос на кресте, Владислав почувствовал некоторое облегчение, невесо-



мость. Будто нечто, какой-то тяжелейший недуг, сформировавший основную массу его ненужного тела, вдруг покинул его, выделился с испариной на эту грязно-желтую, воскресшую простыню, пропитал перепачканное одеяло и даже просочился в материю.

Он бездумно лежал, словно на месте преступления, и осоловело, непонимающе тарачился в потрескавшийся потолок, как на карту авиамаршрутов.

«Странно... Разве я не...» – промелькнула мысль.

И вдруг, от чего-то опомнившись, испугавшись потолка с рыжегато-желтым пятном сырости и схватившись за незнакомые простыни – как, бывает, очнувшийся от побоев политзаключенный вцепляется в грохочущие цепи – Владислав сел, осознал и расплакался навзрыд.

«Нет! – вскрикнул он, подскочив с кровати и увидев на ней мокрое, расползающееся пятно пота, напоминающее очертаниями отцовский силуэт, отцовское лицо, застывшее в гримасе разочарования. Владислав в каком-то беспмятстве, в умопомрачении нырнул под безоблачное неоплодотворенное одеяло, бешено вертясь, стараясь перемешаться, опять слиться с неприятно-влажной фигурой отца, соединиться с ней, принять его дух обратно в свое выкипевшее тело. Уткнулся безбилетной мордой в распсиховавшуюся подушку и вращал педали, которых нет, перетряхнул простыню, закутываясь в остановившееся холестеринное сердце, обложенное кольцом атеросклеротических бляшек. Так что

после кратковременных, буйных телодвижений в предрас-светной палате от Владислава осталась только бледно-белая, уязвимая для комаров-наркоманов пятирублевая пятка, торчащая из-под одеяла. – Нет! – нашептывал он где-то в тишине. – Почему ты меня оставил, пап?!»

Но вдруг дверь в палату распахнулась. По щелчку переключателя вспыхнула знакомая люстра, распугавшая попрятавшиеся тени, и Владислав, высунувший голову, увидел свою мать. Ее лицо было перекошено в ужасе, ахнувший рот прикрыт ладонью, а полубезумные глаза таращились на него в каком-то первобытном омерзении и необъяснимом страхе, словно она увидела чудовищное порождение собственного чрева.

«Мам?! Это не то, о чем ты подумала, я клянусь!» – Владислав прикрыл ладонями свой срам.

На скорчившихся от отвращения трусах, с вышитыми на них красными ракетами, отчетливо проступало пятно поллюции.

«Господи боже мой! – затараторила женщина, а у нее за спиной уже вырисовался, безвольно покашливая в сконфуженный кулак, Виталий Юрьевич, с напряженно-мертвой складкой губ и нервно движущимся небритым кадыком. – Чем это таким ты занимаешься?! Я тебя спрашиваю!»

Владислав затрясся от страха и лежал, будто парализованный, не в силах даже накрыться одеялом, сгорая от стыда.

«Господи, Люда... – пробормотал Виталий Юрьевич, от-

махиваясь от повернувшейся к нему супруги, и пальцы его казались одеревеневшими, а жесты преувеличенно-неправдоподобными. – Ну что ты, в самом деле?!»

Людмила Викторовна, с молниями в сверкающих глазах, оглянулась на сына – и ведь ей было невдомек, а может, просто наплевать, что именно из-за такого взгляда в застегнутом пенале Владислава среди исписанных разноцветных ручек схоронился в глубокой, пыльной тени одичавший, изуродованный огрызок серого карандаша...

Тангенс с косой, кастрация косинуса, суицид синуса.

«Ты только посмотри! – крикнула она. – Полюбуйся, чем твой сын занимается!»

Виталий Юрьевич захотел пихнуть руки в карманы, как делал всегда, когда злился или нервничал, но на нем были только спальные рейтузы – он поддел их большими пальцами.

«Сумасшедшая баба, – пробормотал он. – Это нормально. Угомонись... Мужские инстинкты. Оставь пацана в покое».

«Это, по-твоему, нормально?! – женщина круглыми глазами глянула на мужа и демонстративно покрутила пальцем у виска. – Ты с ума сошел, скажи мне?! Это совершенно ненормально! А когда он начнет у всех на виду этим заниматься?! В школе... Или в туалете?! Где-нибудь в раздевалке на физкультуре! Это, по-твоему, тоже будет нормально?!»

Виталий Юрьевич тяжело выдохнул.

«Не сходи с ума, Люда, – сказал он. – А то придется тебя

хорошенько отлущивать. Я серьезно...»

«Ты ничего не понимаешь, Виталя! Не поощряй его поведение, а лучше растолкуй, что так поступать нельзя – вредно для психики и здоровья. Сам подумай, что будет, если он грязными руками какую-нибудь инфекцию подцепит, а?! Что тогда?! Грязь затащит туда, это же интимное место, там же все обнажено... Подумал? Ты вспомни, как он мучился пятилеткой, когда ему неудачно фимоз прооперировали. Сколько он натерпелся тогда! Как страдал! Или ты уже забыл?!»

«Помню, – угрюмо буркнул отец. Он хотел куда-то деть свой взгляд. Смотрел то в потолок, то на пол, то на уродливые ногти на своих ногах, думая, наверное, что пора бы их постричь. Потом вздохнул и повторил. – Помню я все».

«Плохо помнишь! – дыхание Людмилы Викторовны сбилось, затрудненное судорогой, и дрожь бегала по всему ее резонирующему телу. – Ты все-таки его отец!»

«Прощтрафившийся отец, по-твоему, – рывкнул Виталий Юрьевич. – Черт! Хватит с меня. Всех переполошила, дура. Из-за пустяка. Сбегаю в ларек за куревом...» – но, будто разочарованный в чем-то, не сдвинулся с места.

«Все-таки это дух прокаженной эпохи... – проговорила Людмила, с сожалением глядя на Владислава. – Сплошной разврат кругом, секс, наркоманов развелось, вся эта мерзопакость... Владик все это слышит, видит, а что потом?! А музыка! Ты слышал музыку их? Ужас, о чем в песнях поют!

Это кошмар. Послушаешь их, удавиться хочется...»

«Ну вот, уже и песни ей не угодили, – прошептал отец. – Нормальные песни».

«Да, мне трудно угодить, потому что мне не наплевать. Я же не ты! Да дело и не в этом... – она опять глянула на Владислава с жалостью. – Нельзя было в такое время рожать детей. Лучше бы аборт сделала».

У Виталия Юрьевича глаза на лоб вылезли.

«С дубу рухнула, жена?! – он перекрестился и схватил ее под локоть. – Тебе уже самой к психиатру надо! Проверить голову твою...»

«Не смей мне такие вещи говорить! – она отвесила ему звонкую пощечину. – Слышишь меня?! Никогда не смей упоминать при мне всю эту поганую психиатрию! Мне ма-маши моей хватило с ее разговорами!»

«А ты думай тогда головой, прежде чем говорить... – потеряв обожженное пощечиной место, Виталий Юрьевич отплюнулся. Лоб его был в тот момент единственной в мире эпителиальной вариацией воды, охваченной рябью неуживчивых мыслей. Он стоял, стыдясь своих слов и сожалея, покашливая, сглатывая мокроту и поглядывая на Людмилу, которая напоминала просвечивающую вазу, набравшую в рот воды и поставившую в нее обескровленный букет лица. – Прости, Люда, я не хотел сказать это...»

Женщина фыркнула и ослабилась.

«Аллилуйя! Спустившийся с небес споткнулся на земле

и признал свои ошибки...»

«Без драматургии, женщина!»

«Ладно-ладно... Забыли. Это у Влада все от недостатка внимания, – подытожила Людмила, и Виталий Юрьевич закатил глаза, уже зная, что сейчас начнется. – Мы же с тобой договаривались, что ты отпуск возьмешь на это лето и уделишь время Владу!»

«А я, по-твоему, что делаю?!»

«Вот и я задаюсь тем же вопросом, – она осуждающе подняла бровь. – Сходил бы с Владиком в кинотеатр. Прогулялся бы с ним для разнообразия или хотя бы изредка поинтересовался, чем он занят, что его беспокоит...»

«Что, ну что, скажи мне, что в его возрасте его вообще может беспокоить?!»

«Много чего! Сейчас лето на дворе! На улице солнце, теплынь, купайся не хочу, подзагорел бы хоть, спортом позанимался, а то сидит сиднем в квартире, бледный, как поганка! Уже четвертые сутки не выходит, разве это нормально?! Ему погулять не с кем. У Виталика вон свои друзья – он все-таки старше. Мы с тобой договаривались, что я занимаюсь Евой, а ты – Владом. А он у тебя скоро плесенью покроется. Вы оба. Весь в отца».

Виталий Юрьевич прошел в комнату, устроившись за откуда-то взявшимся столом и сложив ладони под подбородком.

«Я у него тысячу раз спрашивал! Мы с ним в шахматы

играли, в то и сё».

Женщина всплеснула руками.

«В шахматы!? В шахматы! Господи, Виталя, ты хотя бы поинтересовался, чего он хочет, что любит... Почему он должен заниматься тем, что ты хочешь?!»

«Не переворачивай с ног на голову, Люда! Это он сам предлагает в шахматы. Я что могу?! Я у него спрашивал, а он... Такой он просто сам по себе. Не хочет развивать навыки. Откуда я знаю, что ему интересно?! Сама знаешь... Я что ему не предлагаю, он все дурачится. В футбол водил играть, так он в траве жука нашел и начал заниматься им. А я что, должен сам себе в ворота голы забивать и бегать, размахивая руками, мол, вон, погляди, Влад, какой у тебя батя молодец?!»

«Да ты хотя бы...» – начала Людмила, но Виталий Юрьевич перебил.

«Нет, хватит с меня! Чему я его научить могу? У меня, ёмакарек, самого никаких полезных навыков нет! В шахматы играю, да и то посредственно. Гроссмейстером со мной Влад не вырастет, так или иначе. Да и ты сама видишь, он хочет сам по себе, в одиночку играть, вот и пусть. Не буду больше принуждать его насильственными методами...»

«Это тебя надо принуждать насильственными методами! Откуда тебе знать, чего он хочет?! Чего ты за него решаешь? Я с ним куда больше времени провожу и вижу, что мальчик просто хочет быть похожим на тебя! Хотя, честно говоря, я

даже не знаю, с чего тебе выпала такая честь, – с нескрыва-  
емым упреком глянула Людмила на мужа. – Я ведь для него  
больше преподавательница, чем мать. Занимаюсь с ним уро-  
ками постоянно. Ты же не хочешь вкладывать в него время  
и силы...»

«Люда, – цыкнул отец, – ты сама знаешь, что я вкальваю  
как проклятый на работе! А ты...»

«А что я?! Я хотя бы стараюсь, но сыну нужен отец, это  
общеизвестно. А ты никогда к Владiku живого интереса не  
проявишь, естественного... Как ни взгляну на твою морду  
кислую, ты вечно все с каким-то сверхчеловеческим усили-  
ем делаешь! Только когда твои приятели-собутыльники тебя  
зовут на поотдыхать, у тебя сразу и грыжа пропадает, и улыбка  
до ушей. Ни разу не видела, чтобы ты собственную волю  
изъявил, чтобы было хотя бы заметно твое искреннее наме-  
рение заняться сыном. Нет, у тебя все из-под палки! Пока  
тебе не скажешь, ты и не пошевелишься».

«Ты просто видишь только то, что хочешь видеть, – кате-  
горически сказал отец и, зная, что будет потом сожалеть о  
сказанном, не удержался, дал волю своей слабости. – У те-  
бя какой-то бзик в голове твоей... Вот так вот. Таракан ка-  
кой-то. Вот он там сидит и извращает картину мира. Приду-  
мываешь всякое...»

«Хватит! Слышишь?! Хватит! Это ты сам... – она едва  
не плакала, но сдержалась и даже обозлилась не на шутку. –  
Ты все извращаешь! Ничего не хочешь делать! Ни-че-го! Я



таких равнодушных людей еще не встречала в своей жизни!»

«Будто ты много кого встречала... – проворчал Виталий Юрьевич. – Я не равнодушный. Просто я не терроризирую своих детей. Даю им хоть какое-то подобие свободы в этом дурдоме, чтобы они своей головой думали, а не бегали за мной хвостом! Влада надо к самостоятельности приучать больше, чем Виталика и Еву, а ты как надзиратель в Освенциме... Хуже даже. Никому не даешь дыхнуть спокойно. Это сумасшествие, Люда, ты хоть понимаешь?! Когда-нибудь поймешь, да будет уже поздно».

«Давай без фатализма, пожалуйста! – рассмеялась Людмила. – Кого ты из себя тут строишь?! Пророка Иеремию? И никого я не терроризирую... Преувеличиваешь опять. Это ты безразличный. Все видят, что тебе нет дела до Владика. Тебя даже педагогичка его на день открытых дверей приглашала. Звонила тебе на работу, домой к нам, упрашивала тебя, придите, Виталий Юрьевич, дорогой-родной, посмотрите, как Владислав себя на уроках проявляет, чем он занимается, как его успехи... Ты его хотя бы мотивировал к чему-нибудь своим присутствием! Показал бы ему, что тебе не только твои шахматы да друзья-приятели интересны».

«Ерунды не говори, а?! Ольга Сергеевна всех обзванивала, а не только меня. В дневниках писалось, – огрызнулся Виталий Юрьевич. – Не говори, если не помнишь уже!»

«Не помнишь... Я все помню, Виталя. Все помню. И ничего не забуду, уж поверь».

Владислав не забыл тоже.

После того случая у Людмилы, ведомой всю жизнь неясными страхами, связанными с половой жизнью, окончательно помрачился ее рассудок, и анатомированная личность Владислава во всех ее дотоле безобидных проявлениях теперь стала рассматриваться его матерью как синдром, как сложносочиненный комплекс симптомов, проистекавших из тайно терроризирующей, нуждающейся в лечении болезни.

Хуже того, что все бестолковое и ребяческое в поведении Владислава – например, склонность к гримасничанью, паясничанью и косноязычию – что родителями прежде считалось возрастным и простительным, лишь безвредным чудачеством, поводом для ободряющей улыбки и снисходительного отношения, все это теперь совершенно неожиданно и пугающе гиперболизировалось, приобретя гротескно-карикатурные свойства, которые необходимо было безотлагательно изжить или подвергнуть ожесточенной коррекции.

И это было поводом для радости. Ведь когда Владислав заболел, как и любой из детей Людмилы, она становилась нужной, а в глубине души еще и преисполненной счастьем.

Поэтому она, даже когда Владислав выздоравливал, никогда не переставала лечить его и размышлять о том, как он страдает, о том, как он болен, просто он никому не говорит, чтобы их не расстраивать.

«Ну ты сам посмотри, Виталя, какой он тощий, разве это нормально?! – держа Владислава за худощавое запястье, бор-

мотала Людмила. – На него врачи в поликлинике как на концлагерника смотрят, будто он через голодомор прошел. А что обо мне думают... Даже знать не хочу! Еще пожалуются...»

Виталий Юрьевич только устало вздыхал.

«Раздуваешь, ей-богу, из мухи слона. И не мешай нам, пожалуйста, играть. Твой ход, Влад... – и пока Владислав раздумывал над следующим ходом, они продолжали голосить. – Парню десять лет всего, я тебя умоляю. Я в его возрасте был тощий, как тростник».

«Вот только не надо выдумывать. Мы с тобой в одной школе учились, разве что за одной партой не сидели. И я прекрасно помню, какой ты был... – настойчиво заявляла Людмила. – В футбол играл и даже борьбой занимался, если я ничего не путаю, и медали за соревнования у тебя с юношеских лет остались. Так что не надо приbedняться...»

Владислав, пока отец не замечает, повторил за ним ход, насколько позволяли сложившиеся обстоятельства партии, с гордостью объявив, что он закончил.

Виталий Юрьевич, глядя лишь одним глазом, быстро сделал свой ход и, опять обреченно вздохнув, посмотрел на Людмилу.

«Ну и чего ты хочешь от меня, а? – спрашивал он. – Я что, могу как-то мальчишку переделать?! Может, мне заново его родить, чтобы он тебя устраивал своей комплекцией? Вот и все, не приставай. Нормально с ним все. Это просто твое

фантазирование».

«Опять?! Никакое это не фантазирование! Будто сам не видишь... – она прервалась, погладила сына по спутавшимся волосам и улыбнулась ему. – В общем, я решила. Буду сама заниматься здоровьем Владика, раз ты отказываешься».

Владислав сделал ход, а Виталий Юрьевич, победоносно хрустнув костяшками пальцев, поставил ему мат.

«Говорю же, родная моя, флаг тебе в руки! Я не собираюсь тебе доказывать, что люблю своих детей и превращать Влада в поле боя за звание лучшего родителя года...»

И это продолжалось.

Людмила встречала Владислава после школы, когда заканчивались уроки.

Друзей у него, кроме одного-единственного, не было, да и то был исключительно школьный друг по свойству – так что звонок с уроков означал, в сущности, и конец дружбы.

Владислав замечал, что мать, встречавшая его, как возвращенца-военнопленного, чуть ли не со слезами на глазах, выглядела каждый раз нарочито-радостной и осыпала его бесконечными вопросами, на которые получала однозначный ответ («Да нормально»).

Не зная, о чем еще с одиннадцатилетним сыном поговорить, кроме как о его предполагаемой болезни, вспотевшая и нервничающая Людмила в первую очередь ненавязчиво интересовалась тем, что косвенно относилось к Владиславу.

Например, его итоговыми оценками (в основном удо-

влетворительными), выставляемыми в конце учебного года, условными успехами недоброжелательных одноклассников, а также намерением медперсонала прививать их в следующем году, ну и списком литературы для чтения на лето.

Но, получая в ответ только сдержанное и лаконичное мычание, неперебиваемое на человеческую речь движение громадной головы, и видя, что Владислав от ее слов плотнее замыкается в себе, Людмила вдруг начинала теревить его уже опустевшую кофточку и бесформенный рукав, лишившийся, собственно, руки. И тогда она начинала кричать ему, старалась на чем-то твердом и действительном (шерстистый шмель, брезгливая береза в обществе обобщенных дубов, хромой прохожий или еще что-то) сфокусировать рассеянное внимание Владислава, опять сгустить трепетную дымку нахлынувшей на него слепоты, в которой он стремительно растворялся.

Он всегда боялся, что титанические усилия матери окажутся бесплодными, что она будет сожалеть о напрасно потраченном времени и жизни, что вся ее взрывоопасная любовь превратится в отравляющее разочарование.

Младшеклассник-вундеркинд, он прикладывал болезненные усилия в эрекции учебы, усилия, соразмерные тем, что вкладывала в его воспитание Людмила, заботясь о нем как о самом бесперспективном, несамостоятельном и потерянном.

Но, пытаясь преодолеть несоответствие и развить свой анемичный разум, скованный комплексами и неврозами,

во что-то лучшее, Владислав надорвался, что в свою пору привело к гипоплазии пениса и очевидной скудости пубертатных изменений и физическим деформациям бесконечно разрастающегося, как дрожжи, тела.

Ждали его в учебе и похвальные грамоты, и репутация пятерочника, но только до поры до времени, когда Владислав вдруг понял, что все его старания бесплодны, что его родители по-прежнему, несмотря на его нечеловеческие старания, видят в нем безнадежного ребенка-онаниста, пойманного за предосудительным действием.

Пусть даже в будущем Владислав стал бы всемирно известным поэтом, космонавтом, совершившим высадку на Луну, спортсменом или партийным лидером-коммунистом, все это было бы тоже зря, ведь в одноразовых родительских глазах, которые ему в порыве проясняющей ярости хотелось зашвырять камнями, в этих глазах за портьерой надуманных успехов, за кулисами театра жизни всегда будет просвечивать этот онанист, эта скособоченная страхолюдина, которая свела с ума мать.

И все, что у него осталось, это нарастающее, крепнущее с годами чувство стыда и вины, всем телом испытываемого. Последнее прибежище для презренного человека, чьи веерообразные кисти сочетали в себе лучшее от фигового листа, а Владислав прикрывал ими кажущуюся наготу, каким-то образом видимую всем вокруг.

В такие минуты ему хотелось раствориться в воздухе,

стать призраком-невидимкой.

«Владик, Влад?! – громко взывала Людмила Викторовна к сыну. – Опять ты в облаках витаешь?!»

И как только у нее получалось вернуть Владислава в этот мир, мир унылой вещественности и плохого зрения, она принималась о чем-то сиюминутно важном с запальчивостью рассуждать и тыкать пальцем в объекты, не успевавшие оформляться.

Со слезами на глазах, обмахиваясь хихикающим платочком, по-идиотски Людмила умилялась майскому свежесжатому соку солнца в стакан дня и мелкому трепету листы, кое-где еще не до конца обозначившейся, но сквозь проблиски которой проступало блестящее аквамамино небо. В какой-то напускной истерической радости, перебивавшейся напевными стихотворными экспромтами, она бормотала, что все так хорошо, просто замечательно. Хорошо! Какая погода, Владик, ты посмотри, обязательно хорошо! Все непременно должно радовать глаз, озарять выполосканную в собственном соку душу, хотя сам Владислав знал, что все плохо.

Все обман, все нарушение перспективы, где предметы сдвигаются в глубину, в чернеющую пропасть, а сам он бесконечно уменьшающаяся вещь в мире бесконечно увеличивающегося ощущения собственной ненужности.

Все эти перемещения по обезглавленным коридорам поликлиники, по одинаковым кабинетам одинаковых врачей в одинаковых халатах, одинаковые процедуры, одинаковые

ответы и вопросы на приеме у большелобого доктора, на крыльце чьей полуовальной физиономии, на ступеньке под расплющенным носом сидели усы, собравшиеся в долгую дорогу, если не в кругосветное путешествие до бороды.

Он совершал эти за годы выученные Владиславом наизусть движения – с помощью фонендоскопа доктор зондировал тугие комья его необитаемых планет-легких, пальцами массировал горло, поворачивал голову, прикрученную к шее шурупам, а Людмила тем временем, взъерошенная от нервов, сидела, скрестив ноги и поглядывая искоса на растения (увядавшие от ее взгляда) в горшках на подоконнике и шкафу, и расковыривала ногтем пунцовый прыщик на сужающемся подбородке.

Любить эта женщина совершенно не умела. Во всяком случае не нечто конкретное, а скорее свою собственную абстрактно-извращенную любовь, которую ей было приятно чувствовать. Жадно, алчно эксплуатировала она подобие этого чувства в самой себе, пока оно не исчерпывалось, а когда наружу из-под него вдруг вылезал погребенный неполноценный Владислав со всеми его изъянами, симптомами и непростительными дефектами, то Людмила вновь стремилась взрастить это чувство в себе и утопить в нем Владислава, как неожиданно всплывший труп, как позорное свидетельство ее собственной дефектности, ее репродуктивного провала. Так что Владислав был лишь формальным, пустым наполнителем бытия и Людмила в нем не нуждалась – нуж-



далась она только в своей собственной немеркнущей, обезличенной любви, присущей ей самой и натягиваемой ей на весь земной шар, как презерватив на глобус.

Неважно было, кто перед ней, Владислав или его вымышленная болезнь. Важно было лишь превратить это в то, что можно любить.

«Ну как он, доктор? Здоров? – спрашивала Людмила. – Шумов в сердце нет? Каких-то дефектов...»

Замученный врач вздыхал прерывисто и непринужденно-легким движением закидывал шнур фонендоскопа, как аллегорическую виселицу, на обложенную складками шею – причем черный и гладкий шнур всегда оказывался между двух складок.

«Нет», – отвечал он коротко и замученно.

«А почему Владик такой худой, как вы думаете? Это не из-за болезни? Я узнавала у других врачей. Они определенного ответа не дали. Но я ему постоянно говорю, надо больше кушать, спортом заниматься, гулять ходить, дышать воздухом и общаться с другими детьми... – но и на это врач только пожал плечами. – Правда, за последний год он как-то совсем уж неожиданно вырос на целых пять сантиметров. Я даже удивилась... Думала, что он уже не вырастет, так и останется метр с кепкой, а тут вдруг пошел в рост. Это нормально?»

Доктор вытянул из кармашка ручку и в страшно неудобной позе незамедлительно начал что-то записывать в задымившийся больничный лист.

«Совершенно нормально», – ответил он, но Людмила только скептически фыркнула и мотнула головой, уже решив для себя, что в следующий раз они пойдут на прием к другому врачу или, что вероятнее, в другую больницу.

Потому что в их поликлинике толковых специалистов отродясь не водилось. А если понадобится, даже поедут в Ленинград.

И они ездили...

«Скажи-ка мне, Люда-Людмила, ты что, парня хочешь до полусмерти замучить своими больницами?! – уперев руки в бока, Виталий Юрьевич гневным взглядом сверлил спину супруги. – Да на нем уже лица нет!»

Женщина не обращала внимания, продолжая готовить вещи для поездки в больницу на консультацию и, как ей представлялось, даже возможной госпитализации Владислава для наблюдения в психиатрический стационар.

«Аллё, Люда, ты меня вообще слышишь?! Не прикидывайся глухонемой! Со мной такой трюк не пройдет. Я тебя спрашиваю, ты когда от парня отстанешь, а? Ты ему уже всю психику перековеркала! Затаскала его по больницам, жизни ему не даешь... А теперь еще и в аутисты его записала!»

«А что, разве я не права? – спокойным голосом отозвалась Людмила, не поворачиваясь к мужу. – Пойми, Виталя, никто Владиком заниматься не будет, если их не заставить. А по поводу аутизма ты и сам все скоро поймешь. Я тщательно по этому вопросу проштудировала литературу и проконсульти-

ровалась со школьным психологом, и тот согласился с моим диагнозом».

«Ну хорошо, что с твоим диагнозом он согласился, – безрадостно, утомленно хохотнул Виталий Юрьевич, – а причем тут Влад?!»

«Я школьного психолога попросила с Владом побеседовать. Конечно, это не психиатр, лечение назначать не может, но надо все делать постепенно. И я объяснила ему сама, с какими проблемами Влад сталкивается дома – что у него друзей нет, что он постоянно витает в облаках, и даже ты подтверждал, Виталя, что интереса у него нет. Это даже тебе очевидно! Хотя ты в этих вещах совершенный профан. Эмоций он вообще никаких не проявляет. Живет как рыба в аквариуме. Только ест, спит и молчит. Это же все признаки, Виталя. Признаки психического расстройства. Самого настоящего. Он всегда был таким, ты вспомни! Эта его апатичность. Замкнутость. Отсутствие стремлений. С окружающими не общается. Внимание у него развито ужасно слабо! Я уже не говорю про мелкую моторику... В общем, Владиком еще заниматься и заниматься. Причину патологии выявить нужно. Работа над ним предстоит трудная и долгая, но я готова. Мне же не жалко на моего сына сил и времени».

Виталий Юрьевич слушал ее, полуоткрыв рот.

«Работа предстоит трудная и долгая?! – повторил он наконец. – Господи, да ты будто страну после войны отстраивать собираешься! Это ни в какие ворота, Люда. Слышишь

меня?! Вернее, ты себя-то слышишь?! Какую чушь ты говоришь с заумным видом! Диагноз она поставила парню... Причину патологии собралась выявлять! Детский сад! Какой патологии, скажи мне, будь добра?! В кого ты Влада вообще хочешь превратить, я не могу понять? Эй, женщина, очнись! Я с тобой говорю. Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь...»

Людмила резко развернулась и окрысилась:

«Ох, даже не думай сравнивать меня с моей мамашей! Слышал?! – казалось, она готова была наброситься на мужа и расцарапать лицо, если он продолжит свою мысль. – Я не такая!»

Виталий Юрьевич сложил руки на груди, оттопырив свои наждачно-желтые локти.

«Хочешь, чтобы и Влад таким же стал, когда вырастет? – судейским тоном спросил он. – Таскал в себе твои психические выверты?!»

«Ах так?! – Людмила вскинула ладонь, видимо, воображая, как оцарапывает мужу физиономию. – Уж лучше пусть будут мои выверты, чем твое безразличие ко всему! Обеспокоился он вдруг судьбой сына... О будущем его задумался! А еще вчера ты где был, Виталя, скажи на милость?! Молчишь? Вот и молчи».

Ради чего все это делалось, Владислав не мог понять. Должно быть, каждый раз думая о сыне, Людмила натыкалась на эпохальный и непотопляемый айсберг стыда, чья вер-

шина, сияющая солнцем сознания, лежала на поверхности ее разума и руководила всеми ее примитивными действиями. Возможно она даже упрекала себя за то, что выносила такое убожество, растранила яйцеклетки на зачатие столь неудобосказуемого человеческого экземпляра, как младший сын Владислав.

Наверняка он, со своим аутистическим восприятием мира, представлялся ей и окружающим его людям недопустимым, постыдным и возмутительным явлением, эдакой кратковременной отрыжкой на этом разгульно-праздном застолье общественной жизни.

О таком образце не захочется говорить с подругами, не похвалишься перед бывшими одноклассниками, будто только для того и плодящих детей, чтобы в будущем у них нашелся предмет для срочного телефонного разговора. Хотя упоминание Владислава – этого онанирующего отрока, скобоченного раздражителя гениталий и стереотипного одиночки – было нежелательным в любом телефонном разговоре и неизменно пробуждало у собеседников малоприятные ассоциации.

Не исключено, конечно, что до рождения Владислава его родители жили в счастье, деля взаимную любовь между собой и первенцем Виталиком. Но для Владислава их кратковременное, беспечное счастье и вера в светлое будущее социализма обернулись гнетущим удушьем и многолетним адом жизни – словно их нежизнеспособные мечты, которые они не

могли просто созерцать, оставив в блаженстве и запредельном покое, эти мечты при грубом и принудительном овеществлении обнаружили трагическое несовершенство, теневую сторону, брак, появившийся из-за кулис в самый последний момент, когда раздался первый крик еще неназванного Владислава. Никто не видел и малейшего настораживающего вздутия, тени деформации, неуловимо-призрачного намека на этот вездесущий порок, который вскрывала лишь материальная жизнь и который прятался за одурманивающей пленой эгоистических интересов и легкомысленных радостей родительства.

И с этой вещественной испорченностью, никак не согласовавшейся с непорочными представлениями и единоличными мечтами Людмилы о светлом будущем, о ребенке-позе, о сыне-социалисте, с этим дефектом по имени Владислав она так и не сумела примириться.

Ну а потом она умерла, забрав с собой половину Владислава, оставив один только скелет осыпавшейся новогодней елки, простоявшей в углу их однокомнатной квартиры в Кексгольме несколько лет. Ни у Владислава, ни тем более у Виталия Юрьевича не возникло желания возиться с елкой и совершать все те многочисленные движения, только обратные тем, что совершались при установке, но уже без участия Людмилы, Виталика и Евы, погибших в чудовищной авиакатастрофе.

Долгую неделю после трагедии Виталий Юрьевич не про-

сыхал. Владислав старался держаться от него подальше и не разговаривать, но в однокомнатной тюрьме-квартире это плохо получалось, поэтому негласное соглашение предписывало ему ограничиться посещением кухни, когда Виталий Юрьевич просыпался, чтобы сходить в универсам за очередной поллитровкой и напиться до беспамятства.

Владислав не знал, как долго продлится этот приступ запоя и не кончится ли смертью отца, потому решил заглянуть однажды в кухню, когда тот напивался. Виталий Юрьевич зыркнул на него своими кроваво-красными пропитыми глазенками – в которых, как у бездомного, была только пустота, отблески дымного хрусталя и битого стекла – заплывшие бледной, состарившейся кожей. Он потянулся к полбутылке, стоявшей на разделочной доске, плеснул водки и, горестно матюгнувшись – увидел, что на фотокарточке остался влажный потек, где рюмка губой доньшка прижалась с поцелуем к округлому животу его беременной жены – придвинул рюмку Владиславу.

«На вот, выпей от горя, – шмыгнул он и, взяв двумя пальцами фотографию, принялся ее расцеловывать слюняво и слезно, а потом играть в гляделки с прошлым. – Господи... Господи, за что забрал их к себе так рано?! Ох, Владик-Владик... Чувствую я, что умираю... Отправлюсь к ним... Господи, а ведь даже хоронить нечего! Пустой гроб в земле... Боже ты мой...»

И продолжил бормотать какую-то околесицу о свечках,

которые надо поставить, о бедной доченьке, об упокое и все крестился, крестился, будто рисуя на себе мишень и призывая выстрелить в нее.

Владислав стоял и смотрел на Виталия Юрьевича, чье расплывшееся лицо, будто вылепленное из навоза, никак не могло осмысленно выразить что-либо, а просто вздрагивало, тряслось, завывало, пока вдруг не исказилось в приступе страшной злобы.

«Эй, ты! – рявкнул Виталий Юрьевич. – Я кому сказал?! Пей, Влад. Слышишь меня? Пей... Не будь безразличным аутистом... Докажи, что я в тебе ошибался. Помяни маменьку и брата с сестрой! Ты глухой!? Я кому говорю!?»

Владислав испугался, глядя на мускулистые руки, вздувшиеся от напряжения и злости, на оскаленное лицо, на сверкающие глаза.

«Я не видел, чтобы ты хоть слезу пролил, Влад, – полурыча и стискивая в кулаке мнущуюся фотокарточку, проскрежетал Виталий Юрьевич. – Ты, оказывается, действительно того... ненормальный... У тебя чувства есть человеческие?! Или твоя мать говорила правду, что дурдом по тебе плачет... Что тебя надо жестко так выкорректировать... Вправить тебе мозги твои! Плохо ты свою маменьку любил, недоносок несчастный! Это ты ее с ума свел!»

Виталий Юрьевич подскочил, ударившись коленом об угол стола, схватил бутылку, расплескав некоторую часть содержимого, и, расталкивая стены, стал протискиваться на-



встречу к Владиславу – в глазах его была угроза, зубы скрежетали от ненависти, а голова закружилась, и спустя мгновение он расстелился плашмя по линолеуму, пуская слюни и храпя, как престарелый сосед по палате...

Еще не до конца проснувшись, обливаясь горячечной испариной, в запутанном полубреду Владислав скинул с себя одеяло, под которым оказалась выщербленная пустота, несбывшиеся очертания рассеянного тела, которое постепенно возвращалось, сгущалось в пульсирующую дымку непрекращающейся психической боли.

«Я умер? Нет... Не умер, – на секунду поддавшись путаным сновидениям, Владислав полушепотом обратился к пустоте палаты с вопросом. – Пап, ты тут? Нет... Тебя нет... Нигде. Я по тебе тоскую... Не хватает наших шахматных партий. Очень сильно не хватает. Твоей мудрости... Неужели ты и вправду... Умер».

Умер.

Владислав поднялся, нарушив тишину в ночной палате липким шлепаньем босых ступней по вязкому, протаптывающемуся, как трясина, линолеуму. Он двинулся сквозь густую темноту в сторону двери, в сторону коридора, где звонил телефон. Возможно ли, что это отец?! Владислав вышел в коридор, где было прохладно и пусто.

«Я иду!» – прошептал он, слыша дребезжание телефона в собственном сердце. Он еще не знал, что будет говорить, наверное следовало сказать – я неизлечимо болен или, мо-

жет быть, я умираю! – но маловероятно, что покойника это взволновало бы. Владислав добрался до сестринского поста, где горела лампа, лежала раскрытая тетрадь со стихотворениями и утопал в черной вязкости сна телефонный аппарат.

Владислав снял трубку.

«Аллё, пап, это ты?!»

«Да, сынок. Это я».

«Господи... Как ты?!»

«Хорошо, Влад. Нормально».

«Я по тебе так скучал, пап... Ты представить себе не можешь! Я не знаю, что мне делать... Я так страдал!»

«Знаю, Влад».

«И все?! Это все, что ты скажешь?!»

Тишина.

«Аллё, пап?! – Владислав вцепился в трубку. – Ты там?!»

«Ответь, пожалуйста!»

Гудки.

Он почувствовал, что это конец и, задыхающийся, вслушивающийся в удаляющиеся звуки, Владислав ощущал, что ему больше не представится случая узнать у отца, была ли какая-то цель, какой-то смысл в том, что он родился? И какого пути ему необходимо придерживаться, какие поступки необходимо совершать, чтобы, в конце концов, заполнить пробел, убрать несоответствие, и перешагнув порог жизни, беспрепятственно слиться с отцом в посмертности, в пустоте небытия, где он воссоединится с отцом на высшем градусе

осознанной бестелесности, на кульминационной стадии всемирного распада!

Но, к сожалению, не успел. Владислав еще долго сидел, как всегда в отсутствующей позе, слушай, как в бездыханной трубке, приставленной к его уху, вновь и вновь прокатывается паровозными свистками аритмический гудок израненного сердца, опущенного на рычаги.

Все последующие ночи Владислав просыпался в поту, в смирительной рубашке сердечно-легочного невроза.

У несговорчивых медсестер на посту он просил сделать всего-навсего один звоночек.

«Жизненно, жизненно важный, дамы. Щедро отблагодарю, расцелую, букет из ста роз подарю, когда выпишусь, дайте только позвонить. Отец у меня умер там, надо срочно... Узнать...» – но, за исключением единственного раза, когда он предпринял попытку у тетки по телефону в двухминутном разговоре выпытать, отчего все-таки Виталий Юрьевич скончался, звонить по пустякам с сестринского поста строго-настрого воспрещалось.

«Вернитесь в палату, будьте добры, – увещательным голосом говорила ему молоденькая, с румяными щеками, девушка-медсестра. – Совсем не думаете о своем здоровье! – и, беря его под руку, спотыкливого, оглядывающегося на телефон, провожала до палаты. – Вам после восстановительных процедур надо расслабиться, гимнастику поделайте, разомните ноги... К чему вам лишний стресс? Согласитесь, что он вам совершенно не нужен».

Владислав, пошаркивая, со страдальческой гримасой и небритой мордой, шел в палату, как на расстрел.

«Я домой хочу, – промямлил он. – Вернее, не домой, у

меня нет дома... Но здесь я точно не хочу быть. Я больницы терпеть не могу... Особенно когда меня в них удерживают».

«У вас нет дома?! – слегка удивилась девушка. – Как это? Вы же еще такой молодой! Не может быть, чтобы вы были бездомным... Да и у нас, кажется, не больница вовсе. И не тюрьма, чтобы удерживать! У нас кардиологический диспансер».

Увидев в окно, что погода слегка пасмурная, как он и любил, Владислав остановился.

«А мне можно гулять? – спросил он. – Я люблю предливневую погоду... Серые цвета, полутьма... Красиво. Вот-вот атмосфера расстанется с тем, что ее тяготит».

Медсестричка с интересом посмотрела на него, будто не замечая, какой он уродливый и неказистый, а потом хихикнула.

«Это вы так планируете побег? – спросила она. – Экий вы хитрец! Нет, так дело не пойдет... После того, что я от вас услышала, теперь точно буду держать ухо востро, а то еще улизнете тайком, пока я зазеваюсь, а с меня потом будут спрашивать».

Владислав сильно огорчился, и сердце его сжалось от чувства запертости.

«Ну вы чего?! – мягко посмеялась медсестричка. – Конечно, я вам не доверяю, но... Могу с вами кружочек-другой пройтись. Как вы на это смотрите? У нас тут красиво, на самом деле. Рядом река есть».

Владислав смутился, глядя на улыбающуюся девушку. Молодая, красивая, с живой улыбкой и лучистыми радужками в глазах, а он – ярко выраженный комплекс патологически безобразных черт. Не говоря уже про чудовищный рост, неуклюжие руки и ноги полукольцом, словно он сидит на лошади.

А о лице и думать не хотелось...

Рот – как разводной мост над буксирующим пароходом языка, глаза вечно прищуренные и бесполезные, уши, как противотанковые мины, криво пришитая пуговица носа, жиденькая полоска бесцветных мальчишеских усов, бесчувственная борозда затасканных губ, перечеркивающая, как непростительную ошибку, нижнюю половину его дегенеративного бледно-желтого лица, на котором лежала остывшая каша жизни. В его персоне не нуждался ни отечественный кинематограф, ни зеркало, ни тем более женщины.

Хотя прежде, наверное, на рассвете сознательности, он позволял себе по наивности своей думать, что в этом солидарном, обличительном уродстве всех его черт соблюдена какая-то строгая симметрия и скрывается некий обратно пропорциональный этому безобразию нравственный замысел – но увы!

Взрослея, он стал понимать всю нелепость своих заблуждений.

«Ну, Владислав?! – слегка тряхнула его медсестричка, как делала мать, когда он проваливался в собственные мысли. –

Как вам такое предложение?»

Он рассеянно посмотрел на нее, терпеливо дожидаясь, когда все части ее тела, как черви, расплзшиеся за то время, пока он пребывал в задумчивости, сползутся обратно и составятся в человеческий образ.

«Какое-такое предложение?»

«Ну как же?! – весело удивилась она. – Прогуляться под моим присмотром!»

Владислав кисло улыбнулся на ее марширующую речь и кивнул. И девушка удовлетворительно кивнула в ответ.

«Тогда я сейчас быстренько загляну на сестринский пост, возьму пальтишко свое, а вы пока возьмите куртку или еще что-нибудь, а то на улице прохладно, да и моросит, кажется. И ждите меня у поста».

Так Владислав и сделал.

Он стоял и слушал девичьи голоса, слушал тишину, удивительную и нетипичную, как ему казалось, для подобного места – и вдруг подумал, что ему незачем отсюда уходить. Никогда. Но это была только мысль.

Прогулка началась в одностороннем безмолвии, словно девушка дожидалась разрешения заговорить, но Владислав не мог этого понять. Как только они вышли, спустившись по ступенькам, он заметил на углу здания флаг-триколор, который трепетал на ветру и старил воздух своими разноцветными морщинами-складками.

«Мы что, за рубежом?!» – полуудивленно спросил Влади-

слав.

Девушка удивилась не меньше него.

«Что? – спросила она и посмотрела на пациента с непониманием и даже растерянностью. – За рубежом? Вы о чем?»

Он заметил ее взгляд и устыдился своей несдержанности.

«Может, хотите поговорить? – спросила девушка. – Знаете, я ведь обращаю внимание на тех, кто у нас проходит реабилитацию...»

Владислав с вкрадчивой, мнительной подозрительностью глянул на медсестру. Она почему-то прервалась, не став продолжать свою мысль, и посмотрела ему в глаза, будто ожидая согласия, но вместо этого Владислав, напуганный, заговорил сам.

«Простите, я никого не хотел оскорбить своим поведением, – сказал он. – Просто никак не привыкну, что мы уже не в советском союзе, а... Где-то. Моя родители были социал-демократами. Верили в коммунизм... Я так думаю. У мамы было много стихов на эту тему. Просто я никогда ничем не мог проникнуться. Я честно пытался быть нужным, полезным, соответствовать требованиям... В общем, да... Для меня это до сих пор большая тема».

Слегка запахнувшись в пальто и невольно обхватив себя руками, медсестричка шла рядом с Владиславом, как-то понуриив голову и, поджав губы, понимающе кивала, будто его слова были ей понятны, а горе – близко.

«Знаете, я не верю, что будет хуже... Я хочу сказать...



Времена всегда меняются, это в порядке вещей. Моя семья тоже нелегко переживает этот кризис. Но я им говорю, что ничто не остается неизменным, пытаюсь приободрить, хотя и получаю в свой адрес только упреки. Беда в том, что столетия истории, человеческих усилий, труда и веры во что-то светлое, лучшее... В итоге просто развалились... Вот так вот. Будто ничего и не было, кроме лжи и самообмана».

Владислав, к добру или худу, но ее слов не расслышал. Его ухо выкроило среди прочих звуков один-единственный – далекий и пустотелый гудок электрички, и погналось за своей тоской по дому, по квартирке в Кексгольме, погналось за протяжным звуком и постепенно расширилось до предела, слившись с бесконечностью и улета в космос, растворяясь в солнечном ветре и электромагнитных волнах.

«Электричка, слышали?» – не своим голосом сказал Владислав, подняв палец.

«Нет, не слышу... – прислушалась девушка. – Но в километре отсюда железная дорога».

Они неторопливо шли по дороге под соснами и красно-желтыми кленами, не торопясь, невидяще глядя на асфальт, который блестел от влаги, и продолжительность блеска определялась длиной трещины, куда натекла сыплющаяся морось – и эта бесформенная, апатичная, казалось бы, влага, обеспечивала неизбежное разбухание несокрушимой с виду смеси битума с известняковым шпатом.

И в этих бесчисленных трещинках, как в слезящихся гла-

зах, плавали и кружились скошенные и слипшиеся травинки и хвойные иголки, как ресницы или брошенные штыки отвоевавшихся армий.

«Знаете, – кашлянул он, – наверное, мне просто не надо было родиться... Вот я живу, родился и живу... И всю жизнь болен. Не могу вылечиться. Для меня жизнь неотделима от болезни... Жизнь и есть болезнь. Может быть я покажусь вам ненормальным, но я будто чужак. Чужая земля, я чужой самому себе и окружающим. Я как раковая опухоль. Как тайный распространитель инфекции, разносчик заразы, называемой коммунизм... Переносчик чьих-то идей, мышления, от которого не могу излечиться. Я будто слабосильный, никому ненужный старик, изживший себя давным-давно... Который только и думает о том, как ему избавиться от самого себя. Потому что он бесполезен самому себе. Пустобрех. Никому не нужны его тирады и бессмысленное пустословие. Я будто мертвый. Мой отец, к слову, недавно умер».

«Да, я слышала, вы постоянно о нем говорите. Только не подумайте, что я вас в этом упрекаю! Просто... Очень жаль. Кажется, он был хорошим человеком и вы его очень любили».

«Любил? – повторил Владислав. – Не знаю... Не уверен... Я пытался дозвониться ему. Вернее, не ему, а другим. Это важно. У меня просто ничего уже не осталось в жизни. Я не знаю, кто я... Не знаю, кем мне быть, понимаете? Владислав Витальевич Говорикин – это нечто такое расплывча-

тое, несущественное, бессмысленное. Облако бесчувствия и головной боли в брюках, рубашке и пиджаке. У него ничего нет. Прошлого нет. Нет будущего. У него нет профессии. Нет веры... Короче говоря, ничего нет. Это человек-пустышка. Это пережиток. Я должен получать пенсию. Должен жить в доме престарелых, роптать на то, что творится в стране. Получать питательные вещества внутривенно. Испражняться через катетер. Да... я старик! Но поди докажи это окружающим... Господи боже, одна, просто проходя мимо меня на улице, даже сунула мне в руки какую-то брошюру об увеличивающихся рисках незащищенного секса! Простите, что я так откровенно... Но меня это просто рассмешило! Как это, взять и сунуть в руки незнакомому человеку такую мерзость?! Будто я обязательный будущий спидоносец или какой-то наркоман... Мне некуда деваться от них, понимаете? Эти оскотинившиеся, наполненные презрением человеческие глаза, похожие на взбеленившееся коровье вымя, из которого доят кипяченое молоко бешенства, тягучее и тупое молоко социального столбняка и вымученного взгляда... Коровий взгляд просроченного молока. Они везде! И они видят то, что хотят видеть. А я знаю, что выгляжу для них как молодой, но в душе у меня уксус. Вот».

Он посмотрел на девушку, ожидая понимания, но в ее глазах лучилась внимательная, сосредоточенная тревога, и Владиславу вдруг померещилось, что у него в ладони лежит пистолет, а эта красивая, живая незнакомка, случайно встре-

тившаяся ему на пути, сейчас расценивает их встречу как судьбу и пытается отговорить его от самоубийства одним только выражением глаз.

«Мне нехорошо, – пробормотал Владислав, держась за сердце и, пошатываясь, опустился на поребрик. – Кажется, я сейчас умру. Нет, правда, позовите кого-нибудь на помощь».

«Господи, что с вами?! Сердце?»

«Да, сердце, – пробормотал он и, видя, что она будто сомневается, скукожился. – Ай-ай... – выкрикнул он, разинув рот, в котором медсестра заметила виляющий туда-сюда небный язычок предельно-огненной окраски, ларингологический сталаклит в труженической гортани, в бессмысленном орущем горниле самого небытия. – Умираю! Приведите помощь, зовите Геннадия Карловича... Ну же, скорее!»

«Не умирайте! Я мигом!»

Дождавшись, когда медсестра скроется из виду за поворотом дороги, Владислав поднялся и, недолго думая, прихрамывая, бросился бежать.

Вскоре он возвратился в Петербург. Дома он наскоро переобулся и переоделся, сразу затем расцеловал в обе щеки Фемиду Борисовну и на ее недоуменные вопросы ответил лишь грохотом захлопнувшейся двери.

Это был его последний день в Ленинграде, хотя и пришлось задержаться, потому что обращался в местную поликлинику для уточняющего исследования постоперационного периода.

Интересовала приобретенная хромота, из-за которой Владислав теперь вынужден был опираться на трость – но в остальном преждевременное бегство из диспансера не возымело тяжелых последствий.

Под кажущееся небо, маленькими человеческими глазами выпитое до дна, вышел обновленный Владислав. Предстал он перед многочисленными наблюдателями как контур примитивный, к свету нейтрально-серый, сказочно-зыбкий.

С улыбкой мнимобольной пациент выклянчил последнюю сигарету у перекуривавшей на ступеньках медсестры – привлекательной женщины, но уже в возрасте – которая неодобрительно поцокала языком, журуя горе-сердечника за курение.

Но сейчас Владислав чувствовал себя на удивление легко

и бодро, будто от него отвалился тяжелый кусок отгнившей, давным-давно умершей плоти.

Это было даже странно. Впервые в жизни, казалось, он почувствовал свою плоть не как нечто обременяющее, уродливое, отвратительное и дефектное, а как часть себя.

Там, где голубоватый огонек зажженной спички соприкоснулся с бледно-серым, как водка, воздухом, остаток дня вспыхнул и развеялся в сигаретном дыме. Только щелочные голуби, вспорхнувшие вовремя с лакмусового тротуара, успели раствориться в свинцовом небе прежде, чем серый, дождливый Санкт-Петербург объяло пламя осени.

«Такие, кстати, мой отец курил, – сказал Владислав медсестре, хотя та и не интересовалась. Но его не особенно волновало, что она подумает. – Правда он несколько недель назад умер, а я вот решил начать. Продолжить традицию, так сказать... Хорошие, кстати».

«Соболезную. По поводу отца», – равнодушно сказала медсестра.

«Да, большая потеря для меня, – с не получившимся горем в голосе поспешил отозваться Владислав. – Но теперь у меня есть ясная цель. Хочу знать, как он умер. Конкретные обстоятельства. Если понадобится, даже разыщу того, кто оформлял его протокол о смерти... Или как это у врачей называется. Патологоанатома, работников морга. В общем, неважно. Но я узнаю все, каждую деталь причин его смерти».

«А вам это зачем? – с интересом спросила женщина. – Его

убили, что ли?»

«Нет... Нет, его не убили. Он умер. Ну, умер. Сам... Своей смертью, я хочу сказать. Но это ничего не меняет. Не для меня».

«Тогда я вас уже не понимаю, – женщина отвернулась, загасила окурок о край урны и, откашлявшись, безразличным голосом добавила. – Прошу прощения, мне пора работать».

Владислав постоял еще недолго, слившись с переливающимися перилами и лежебокой лестницей, терпеливо выжидая, когда прозвучит расплющенный сигнал клаксона подъехавшего таксомотора.

Прозвучал.

С лоснящейся клюкой, подвешенной на согнутой в локте руке, закутанный в старое латаное-залатанное темно-коричневое пальто, припадая на правую ногу с гримасой, предвкушавшей не случавшееся мучение, Владислав поплелся на подточенных каблуках к черно-желтому пофыркивающему такси.

И, казалось, пока шел (гася папиросу и двигая вдоль пуговиц ищущей рукой), то долгожданное согласие, неожиданное содружество всех его треугольно-абстрактных мышц и совпадение перепутанных мыслей наступило: сформировалась цель и параллельные линии двух жизней, прежде не соприкасавшихся, слились в одну потрепанную складку пальто, которую Владислав сейчас разглаживал нехитрым и небрежным движением, какое он когда-то неоднократно за-

печатлевал и теперь, извлекая удачную копию этого жеста из подсознания, воспроизвел.

И это движение окончательно уподобило его скончавшемуся отцу.



Железнодорожные пути бежали в северо-западном направлении, к гофрированной границе с Финляндией. Солнце, луна, смесь их холодного света текла под сомкнувшиеся, окаменевшие веки оштрафованного безбилетника, пассажира переломной эпохи.

«...мужчина! Вы глухой?! – недовольный голос откуда-то сзади обратился к нему. – Здесь не курят!»

Владислав проморгался сквозь слезы и дым, вдруг поняв, что обращаются именно к нему.

«Да-да, вы правы, не курят, – пробормотал он извиняющимся тоном, утирая глаза. – У меня, понимаете, отец недавно умер... Вот я и... По привычке уже, даже не замечаю за собой».

Когда он наконец-то вернулся в Кексгольм, желая узнать, от чего умер его отец и какая смерть ждет его самого, то на улице уже были: холод, ветер и гололед, а сам воздух был пронизан искусственным излучением, проявлявшим в снегопаде его лучшие черты.

До дома Владислав добрался быстро. Поднялся на этаж и, потопав и счистив снег с трости, вцепился в горло разоравшемуся звонку, словно желал его придушить.

«Перестаньте звонить, я сейчас милицию вызову! – слышался с обратной стороны двери рассерженный голос. –

Кого черти несут в час ночи?»

«Это я, Владик», – сказал Владислав дружелюбно.

«А, Влад!» – дверь открылась.

Опомнившись, что стоит перед ним полуодетая, в тапочках и халате, Акулина Евдокимовна стала торопливо прикрывать обворожительные углы своих алебастровых плеч.

«Владичек, ты что, уже выписался?»

«Неминуемо выписался. Только инвалидизировался теперь, – пошутил он, постучав тростью по ноге и попытавшись выполнить какой-то затейливый финт. – Шут холестеринавый».

«Боже мой, Владик, ты проходи, проходи, не стой. Как я рада тебя видеть!» – залепетала тетка.

Башмачная неуклюжесть очертаний ее лица, прежде казавшегося непривлекательно скучным, сейчас компенсировалась элегантно замысловатым контуром переключающихся ключиц, а под сквозистой кофточкой можно было разглядеть бесстыдно черневшую крест-накрест полосу бюстгалтера, обманывавшего глаз мнимой пропажей остальной плоти.

«Да, и я, на удивление, рад... – сказал Владислав и вошел осторожно-настойчиво, притворяя за собой дверь, оттесняя тьму извиняющимся плечом. – Тросточку куда-нибудь можно пристроить?»

«А вот сюда, где зонтики», – сказала тетка, взъерошив ему волосы, на которых блестели капли мороси.

Владислав вдруг подумал, что ему, всегда обделенному вниманием женщин, приятны ее торопливые ухаживания и ласковая забота. Наверное, то же самое ощущал и его отец.

Владислав неуклюже повертелся, не сразу сообразив, какие жесты надо произвести, чтобы раздеться – все словно происходило задом-наперед.

Он как бы еще не вспомнил, что будет дальше в его жизни, что ему нужно сделать, но уже предощущал: стоял, в убедительно обтекаемом пальто (сшитом, воображалось, из намоченных цветковых пятен, с перламутровыми пуговицами и достоверно в каждой из них воссозданной гладкой впадинкой, повторяющей очертания подушечки большого пальца), с искристым блеском в спутавшихся волосах, а на бесцветном лице гримаса нетерпения, которое Владислав пытался утаить, оглядываясь и притворяясь, будто ищет, куда повесить снятую одежду, куда девать голову, похожую на расшнурованную и повешенную на гвоздик пару футбольных бутс, куда повесить руки и ноги, куда сложить свой расстегнутый торс и куда поставить позвоночный столб с ребрами.

Слегка опешившая от неожиданного полуночного визита тетка ему помогала. Они оба (казалось бы, одинокие, ищущие чего-то, всеми забытые) не сразу сообразили, что единственным источником света было отверстие глазка, просверливавшее затылок Владиславу, чьи непотребные мысли, вывобожденные кровоизлиянием похоти и пустившиеся в развратный хоровод кровосмесительного секса, создавали в его

перевернувшись нутре, в его позорном воображении ацетоновую трещину инсценированного инцеста, проходящую вдоль его напрягшегося тела – от застёжки-молнии на ширинке до неровного пробора в мокрых волосах.

«Кхм-кхм», – одергивая самого себя, словно от неприятного сна, прокашлялся Владислав.

Нет, нет и еще раз нет!

Сейчас главное для него не жизнь, не секс, не тепло взаимосогревающих душ и тел, не сомнительная связь с неурожайной старухой, которой нечего ему предложить, кроме пресной, повсюду водящейся заурядной плоти и общеупотребительного жира, скопившегося на ее престарелых ляжках и замусоленных чужими руками ягодичках. Нечего предложить, кроме своего засахаренного крахмала, патоки припорной слизи, где водятся нищие яйцеклетки...

Нет, все это так ужасно, так плотско, так отвратительно и так излишне, ведь Владислав разыскивал здесь не жизнь, не причину жить, а лишь смерть.

Смерть единственного родителя. Ну и свою, конечно.

«А вот как чудесно все совпало, даже поверить не могу...» – пробормотала Акулина Евдокимовна, когда они устроились на кухне.

«Что совпало?» – спросил Владислав.

«Ну, совпало, что ты приехал... – объяснила тетка, ничего не объяснив, причем как-то неприглядно выделялся ее рыбообразный кадык на дряблой, неожиданно состарившейся

шее. – На меня недавно туча опустилась, депрессия, тоска, весь день проплакала. Работу прогуляла. А потом вдруг, когда уже повечерело, по дому заплаканная металась, к окну подхожу и там, за стеклом, вижу какое-то облачко, что-то такое бесформенное, призрачное. И главное сначала подумала, мол, может быть, это отсвечивает телевизор или фонарь где-то мигает... Или из-за заплаканных глаз мерещится. Так что умылась и вытерлась, взбодрилась и вернулась. Но нет: оно там продолжало висеть и переливаться как-то, но так что в пределах одного цвета... Но я потом заснула, а под утро ничего уже не было, и я вот подумала, что это были моя сестра с твоим отцом, понимаешь? Как бы проблеск их неразрывных душ явился ко мне».

Но отчего-то рассказ тетки лишь нервировал Владислава. На протяжении повествования он вымучивал из себя улыбку и поглядывал на скукоживающиеся часы.

И вместо той одухотворенной сущности, воспарившей за немытым окном и явившей свою наготу Акулине Евдокимовне, он себе представил вполне вещественного сорокапятилетнего соседа, курившего где-нибудь ниже этажом в форточку, а бесформенное нутро дыма, наполненное неосуществленными бабочками, призрачно лоснилось в иллюзорных отсветах воображаемого фонаря.

«А ты как думаешь?» – поинтересовалась тетка, пытливо вглядываясь в глаза, в самую замыленную сущность Владислава, но никак не могла обнаружить внутри него тот зара-

нее подготовленный объем, создаваемый, например, зеркалом для людей.

Нет, нет...

Ее племянник – что-то с нервной улыбкой неприкрытого скепсиса чиркающий сейчас карандашом в кроссворде – был странно расфокусирован и пуст. Он как бы просвечивал и безвозвратно куда-то улетучивался. У нее никак не получалось сосредоточить взгляд на его вытравленном, выстиранном, как пятно, силуэте.

И, не получая необходимой эмоциональной пищи, ее духовное возбуждение меркло. Ведь любого заблудившегося человека не интересует перспектива, где он отсутствует, где нет возможности подсознательно совокупиться, а потому продвигаться дальше внутрь Владислава не было смысла.

Но вовсе не свойственный ему атеистический скепсис коммуниста и не антагонистическое настроение в целом, а что-то совсем иное довлело над Владиславом.

Из-за этого ощущения всеобщей неуместности бытия, особенно своего, он никак не мог объединить собственное бесформенное переживание с невразумительным, но обещающим хоть какую-то конкретику возбуждением замороженной тетки.

Ведь пока он томился в больнице, то предполагал, что Виталий Юрьевич, его любящий отец, никогда не оставит сына одного-одинешеньку! Нет, напротив, следуя лишь усопшей душе известными потаенными перепутьями загробного су-

ществования, Виталий Юрьевич должен был присматривать за своим временно обремененным плотью сыном и незаметной рукой, подобной руке незримого шахматиста, сопровождать его на протяжении оставшейся жизни, предотвращая от ошибок и наставляя на правильный путь.

Кроме того, построенное на ее собственных вычурных нарративах и антимониях, на подстрекательстве самой себя, это декоративное возбуждение Акулины Евдокимовны, монотонное оголение менструирующих гениталий ее опорожившейся души, весь этот духовный балаган совершенно не интересовал Владислава.

Он был измучен вот этой вот преследующей его, надвигаемой на глаза маскарадной пеленой посмертного существования, которая подгонялась под него, под его чувства, его желания, не имеющие ничего общего с реальным миром, она овладевала его мыслями и жизнью, изолировала от жизни, от окружающего мира и замыкала в собственном мирке, а оттуда – вышвыривала в пустоту одиночества, ненужности, бесполезности самому себе...

Нет!

Теперь он жаждал знать обстоятельства отцовской смерти, столь тщательно от него скрываемые, которые хоть как-то конкретизировали бы губительный туман, обложивший его ум, сгустили бы намеченную вокруг него бесплотную действительность, лишённую адресата и отправителя.

«А все-таки, Акулина Евдокимовна... – откашлялся Вла-

дислав, подбирая слова. Он думал, что нужно просто озвучить щекотливый вопрос, от которого у него в горле першило и рука, разгадывающая кроссворд, нервно дергалась, но одновременно с тем опасался, что тетка, выдернутая из своего надуманного блаженства в этот предметный мир смерти и разложения, каким-то образом даст глубокую трещину вдоль всего своего лучащегося существа. Поэтому он говорил осторожно, медленно. – Вот все-таки вы мне расскажите, только без утайки, недолго отец при смерти был? Не сильно мучился?»

И тетка, положив костляво-бледную, с синеватыми прожилками, кисть на свое авиационное сердце, сказала:

«Ой, Владик... Я когда из парикмахерской вернулась, то даже сначала не поняла, что что-то случилось. Твой отец в соседней комнате сидел, в кресле... И еще вот что главное, свет был выключен, а радио работало. Я подумала, что лампочка перегорела, но потом автоматически попробовала включить, люстра вспыхнула, и вижу – он там неподвижно обмяк, а на рубашке громадное то ли коричневое, то ли темно-бурое пятно... А сам без кровинки в лице, сидит с отсутствующим выражением. Я сразу к телефону бросилась, но уже было поздно. В комнату я так и не зашла. Врачи приехали, посмотрели. Сказали, что он умер. И главное, они рубашку ему расстегнули, а там малюсенькое отверстие...»

«Где?»

«Ну, куда он стрелял... Я еще все мельком суетилась во-



круг них с только что уложенными для танцевального вечера волосами и расспрашивала, как дура, могло ли столько вытечь? Ну... крови».

Лицо Владислава перекошилось, и сердце перекувырнулось через какую-то новую перекладину, перекинутую над пропастью его осоловевшей души:

«Как это, – обалдело проронил он, – куда он стрелял?!»

«Ну... Э... В упор. В сердце, я имею в виду... Как когда-то Маяковский», – находчиво и несколько поспешно ответила взволнованная тетка, предполагая, что, приравнивая смерть простого и непримечательного человека к смерти поэта, можно хоть как-то сгладить различие не только между людьми, но еще и между жизнью и смертью вообще.

«В сердце?! Что?! Но... Ты хочешь сказать... – Владислав медленно подкрадывался к вопросу, к осознанию, – что он... Застрелился?!»

Тетка только смотрела на него, будто ей больше нечего было сказать, будто этот разговор был как употребление пищи, а разум Владислава – желудком, которому нужно было просто переварить услышанное в соляных кислотах застойного ума и жить дальше.

В ответ на вовремя придушенный вопль задыхающегося Владислава в простосердечной душе Акулины Евдокимовны что-то сдвинулось, полетело и начало съеживаться, уменьшаться и, в конце концов, разбилось вдребезги где-то на дне.

Но что еще больше напугало ей, так это то, что вопль

вдруг сменился хохотом.

«Ты что, Влад?! Что тут смешного?!»

Но хохот, как и истерика, быстро прервался, оставив после себя лишь всплывший на поверхность логичный вопрос.

«Почему? – озвучил его Владислав и, пытаясь задуть топчущиеся на пороге глаз слезы, забормотал. – Почему он застрелился?! Зачем?! У него же... Он же... Ему...»

И, попытавшись как-то опротестовать бессмысленный поступок, Владислав вдруг замолк.

Тетка попыталась слегка приободрить его, положив ладонь на руку, которую он тут же одернул в неосознанном отращении.

«Не злись! Если бы я знала, Владичек, я бы повиляла на его решение, – с горечью исповедующегося сказала тетка. – Но мне и в голову не приходило, что он собирался сделать... Я даже не знала, что у него пистолет есть! Это же такая вещь ужасная, откуда она у него взялась... Я не знала, клянусь тебе, Владичек! Иначе я бы тебе сообщила в тот же миг. Просто это случилось. Самоубийство такое дело... Необъяснимое. Оно просто случается. И ничего уже не исправишь. Ничего нельзя сделать».

«У всего есть причина, – категорически сказал Владислав. – Да-да-да, я понял, что причина его смерти самоубийство... Но в чем причина самоубийства?! Кто это объяснит мне?! Кто это задокументировал?! И где? Откуда я могу узнать это, если не от него?!»

Владислав обмяк в кресле, совершенно обессилевший. Он будто подошел к сокровенному замку, но потерял ключ где-то по дороге. Либо же ключ не подошел.

Эта поездка, отдаленно Владиславом рассматривавшаяся как выход из невысказанно сложной перспективы неопределенного будущего, как закулисный маневр и возможность обыграть судьбу и узнать ее наперед, выпутаться из долгоиграющих хитросплетений расплывчатой жизни, в итоге оказалась просто-напросто тупиком, в который Владислав зашел.

Тяжелым бременем на него опустилось окончательное осознание несовместимости несхожих путей, неосуществимость того всеобъемлющего слияния с отцом, о котором он грезил – это был мат, поставленный ему умелым, опережающим его на шаг игроком, который предугадывал все его действия, ведь они были просто повторениями уже разыгранных партий.

И более того, смерть...

Смерть вдруг показалась ему смешной. Вернее, как человек, это пустотелое существо, целиком состоящее из головной боли и желания совокупляться, состоящее из привычек, наименований, второсортных заимствований, сшитое из обрывочных тканей нежизнеспособной плоти, говорящее чужими словами, мыслящее покупным мнением, как и сам Владислав, как это существо, лишённое индивидуальности и самостоятельности, полностью подчиненное внутренним реакциям и эскалациями, внешним факторам и обстоятель-

ствами, находящееся во власти своей вымышленной болезни, в долгосрочном круге порочных взаимовлияний, как это существо, подконтрольное неведомым ассоциативным силами, состоящее из тысячи унаследованных признаков (цвет глаз, волос, кожи) и не имеющее, в сущности, совершенно ничего своего, кроме разве что самолюбия, как это существо может вообще умереть?!

И, тем более, додуматься до самоубийства!

Там ведь нечему умирать. Нечего убивать, кроме пустоты, кроме пространства, которое включало в себя такую сущность как Владислав Витальевич Говорикин.

Смерть...

Кому она нужна?! Зачем?! Это же абсурд. Да и что ему, в конце концов, бояться утратить, если он никогда и не существовал, если он сам от себя отказался, если все полезное, что человечество вообще могло утратить, давным-давно было утрачено и даже не стараниями Владислава, но его предшественниками в процессе эволюции, в процессе приспособления локтя – к подлокотнику, а колена – к молитвенному коврику.

Предшественники Владислава трепетали перед небытием, хотя вся их пресная, крепостная жизнь и была всего-навсего этим неутомимым, неизбывным трепетом, их боязнь смерти – это боязнь жизни.

Сам того не ведая, как последний кретин, как баран и стадное животное без мозгов, Владислав шел по их стопам.

Но теперь он обязан остановиться, преодолеть ту вещь, которую вынашивал в себе. Больше нет никакого несоответствия, которое надо преодолевать, нет даже никакой нужды растрачивать жизнь на то, чтобы быть этим размытым, неясным существом по имени Владислав Витальевич Говорикин, все это совершенно ненужно, совершенно излишне...

Впервые за всю жизнь, пожалуй, Владислав увидел свою спонтанную, независимую полноценность, а не только дефекты, ошибки и личностные увечья.

И место извечного стыда, наливавшего его тело огнем бессилия и злобы, заняло ощущение легкости, невесомости, которому невозможно сопротивляться.

Пусть даже будущее принесет ему сплошные разочарования и горести, пусть даже его тело не выдержит того, что припасла ему жизнь, и он упадет, полумертвый, со стопкой книг из библиотеки, то последним, к чему прикоснется тлен, этот мозолистый палец губительного гниения, будет улыбка на его лопнувшем, как волдырь, мертвенно-бледном лице.

«У вас каких-нибудь сигарет не будет?» – спросил сбоку показавшийся ей посторонним, спокойный голос. Это был Владислав.

«Где-то еще есть, – сообщила оглядывающаяся тетка. – Те, что твой отец курил. Вернее, не докурил... Пачка так с тех пор и осталась».

«Не надо, – строго отозвался Владислав. – Только не такие же, что курил отец. Не надо этого больше. Я знаю, чем все

это кончится, если продолжится. Просто выйду на балкон... Воздухом подышать».

Провозившись со шторами, преграждавшими путь, Владислав вылез на улицу: холод, дрожь, окоченение пальцев. Застрелись Владислав, как его отец, или спрыгни с балкона, к чему у него в это мгновение наметился позыв сродный рвотному, желание вытошнить самим собой, своей плотью, костями, жиром и содержимым, опорожнить этот кожный мешок – туда, в заасфальтированный желудок города, так чтобы остался на перилах висеть только пустотелый комплект одежды, кой он и является...

Если бы он сделал это, то не осталось бы между ним и отцом-самоубийцей никакой стопроцентной разницы, а только открытые, зубоскалящие и насмехающиеся над всем человечеством кровоточащие раны, как у Христа.

И потому, что он еще бессознательно продолжал причинно-следственную связь, унаследованную от застрелившегося отца, только поэтому ум его был замкнут в безвыходном, соблазнительно отталкивающем цикле суицидальных мыслей.

Но скоро это, он знал, перестанет его терзать. Как и все остальное, что терзало его.

Только сейчас Владислав осознал, как ему на самом деле осточертела эта вонь исторической мертвечины, повторяемость человеческих поступков и замыслов, всегда возвращающихся к краху, его тошнило даже от самого себя, тупого и слепого имбецила, который эксплуатировал себя самого,

пытаюсь... Что?! Чего, собственно, он пытался достичь?!

Быть, как написано в паспорте, гражданином СССР Владиславом Витальевичем Говорикиным, даже не зная, что это такое – просто наименование, ненужное и излишнее. Но ведь эта ошибка в природе человека, который стремится надеть переменчивые вещи постоянной характеристикой, наименовать временные вещи, не нуждающиеся ни в качествах, ни в наименованиях, ни в ценнике, и полагать эти скоропалительные выдумки информированностью, знанием о самом себе!

Слова... Правильно, словообразование, речевой оборот, продуцированные мысли-схемы, огрубленная речь одурманенной обезьяны, на которой основано человеческое мышление, вот в чем была проблема. За всеми повторениями стояла слепая, основанная на голых словах убежденность в собственной правоте и надежности этого каталогизированного бытия, держащегося исключительно на игре слов.

И еще за сто лет до всего этого безумия, хаоса и перестроек, задолго до того, как Владислав появился на свет, люди говорили то же самое, что говорят сейчас, и через сто лет после смерти Владислава они будут продолжать говорить и делать то же самое, не задумывая, что мышление, заквашенное на кислой капусте и створожившейся массе слов, не приведет ни к чему новому, кроме того, что уже было. Кроме словесного поноса и опорожнения кишечной доли мозга.

«Ух, прохладно сегодня. Надо бы покурить для разгона крови», – слышался голос.

На соседнем балконе стоял какой-то плохо освещенный мужчина в матроске, трусах и тапочках. Облокотившись о перила, он посасывал с причмокиванием дымящуюся сигарету.

Владислав почтительно-невнятно выпросил одну в обмен на односторонний разговор. Его безликий собеседник кашляющим, немного хриплым, простуженным голосом вразнобой и бессвязно рассуждал о полном светлых надежд будущем и залитом кровью прошлом.

Рассуждал о том, что приватизационный чек – это два, а то и целых три обещанных автомобиля «Волга», рассуждал о неоправданном участии в ракетно-ядерном спортивном двадцатого века, о коммунистических настроениях, как о каменном веке в современном мире...

И вот в этот момент хлипкую диафрагму Владислава Витальевича одолел равнодушный смешок. Его восприимчивый слух резали все эти губами говорящего вырезанные из газет пропагандистские клише, которые он печатал своими пальцами...

Будущее?

Смешно! Какое, к чертовой бабушке, будущее?! У этих лауреатов пропитой зарплаты. У этой вечной аудитории вино-водочных магазинов, четырехкратных чемпионов пропитой зарплаты. У этих жертв диктатуры доллара, эпидемии евро, рабов обесценившегося рубля с их пропитыми глазами и дефицитом улыбок. Какое будущее у этих меркантиль-



ных торгашей житейской суетой, повсюду сующих рекламные плакаты, обещая скидки и прочие финансовые выкидыши, лишь бы обыватель возвратился сюда – в завтрашний день, но уже новым, обанкротившимся человеком, который самого себя со своим жалким имуществом замурует в финансовой пирамиде и гробу кредитной задолженности.

Будущее...

«Нет, нет... Будущее не интересует меня решительно, – подумал Владислав. – Я в нем вижу только гробовозку и отражение потных пяток покойника. Для меня там ничегошеньки нет. Совсем ничего... Да и кому оно нужно, это будущее? Наверняка же все пойдет по накатанной... Чего еще ждать, кроме повторения, когда итог – уже известен».

Он уже даже не вслушивался в речь и нарочно отвернулся, лишь краем глаза улавливая улыбающийся профиль говорившего.

Его немного сместило то, что он вернулся сюда, в родной Кексгольм, и сразу же стал свидетелем странных разговоров, мыслей и событий, которые не имели к его неприкаянно-миломолетной, пропадающей жизни ни малейшего отношения.

Выдохнув дым, который внезапно ему опротивел, как и сигарета в пальцах, относившаяся к заскорузлomu, покрытому плесенью набору привычек, называемых Владиславом Витальевичем Говорикиным, с неожиданным безразличием посмотрев на все это и пульнув окурочек вниз, в темноту улицы, он для окончательно понял, что с этого дня – не возьмет

в рот ни одной сигареты.

Вдалеке горели тысячи огней, составленных в грандиозный скелет многооконного кроссворда. И в каждой клетке, в каждом окошке, в каждом квадратике, виртуозно зарисованном, вместо букв содержались как бы нелегальные эмигранты: облысевшие узники бытия, прижизненные переселенцы, посмертные странники, запрещенные полуночники, туберкулезники, возвращенцы-интеллигенты, попавшие под репатриацию, разочарованные крестоносцы с окровавленными хоругвями и сам Владислав, а вокруг него обесславленные политзаключенные, озорные рожицы, нездоровые лица, осунувшиеся, голодные, безжизненные в своей поверхностной суете, малокровные, в зарешеченных квадратиках, запертые каждый в своей ограниченной камере-обскуре.

Именно ограниченной.

Все-таки слишком многое в этой стране, вообще во всем мире, во всей вселенной проистекало из событий, при которых Владислав, да и никто из живущих, не присутствовал.

Он родился в определенное место и время, приняв на веру осведомленность окружающих людей в вопросах и материях, о которых они не имели никакого понятия и представления. И теперь он пожинает плоды.

«Знаете, – отстраненно, обезлюдевшим голосом сказал Владислав, обращаясь к мужчине, – вы бы лучше своей головой думали. Выводы делали какие-то, а не повторяли то, что в газетах печатают...»

Мужчина хохотнул и выдохнул сигаретный дым в воздух.

«Ну вот видишь, Влад! Это-то я тебе все эти годы и пытался втолковать», – отозвался незнакомец голосом отца.

**КОНЕЦ**